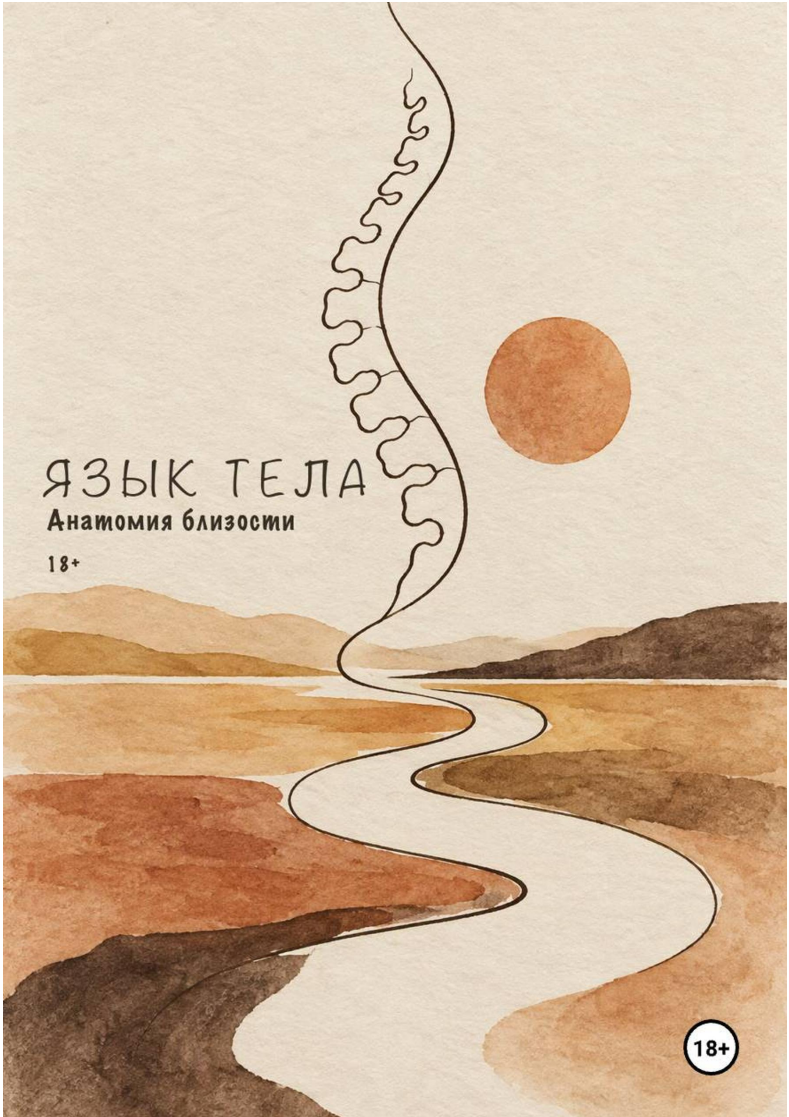

ЯЗЫК ТЕЛА
Анатомия близости
18+
18+

Александр Жарков

Язык тела. Анатомия близости

https://litres.ru/74749198
SelfPub; 2026

Аннотация

«Язык тела» — книга о том, как люди разговаривают друг с другом, не произнося ни слова. Ладонь на затылке ребёнка, пауза перед ответом, то, как человек занимает место в комнате, говорят больше, чем принято думать.

Это не учебник и не эротический роман: здесь нет инструкций «как правильно» и нет сцен, сделанных для возбуждения. Автор — редактор, двадцать лет читающий чужие тексты, — описал то, что обычно остаётся за забором: как устроена близость изнутри, почему тело помнит то, что ум забыл, и что происходит, когда согласие превращается в формальность.

Пять частей и тридцать глав: от первого языка, который ребёнок усваивает раньше алфавита, до утраты и памяти тела. Девятнадцать голосов — разного возраста, города и опыта. Среди тем — границы, власть, телесная уязвимость, одиночество, деньги, вера и то, для чего в языке просто нет слов.

Книга для тех, кому интересно, как устроена близость, когда из неё убрали зрелищность и оставили ощущение. 18+.

Александр Жарков
Язык тела.
Анатомия близости

18+

Тело — это первое слово, которое мы произносим, и последнее, которое забываем.

Предисловие

Зачем эта книга

Я пишу эту книгу пятым годом, и всё это время у меня перед глазами одна картинка: ладонь на затылке. Ребёнок, который идёт через дорогу, и дед, который страхует его, не подавая руки, а держась за шею. Дед в этой сцене ничего не говорит. Он молчит, пока ребёнок смотрит на машины. Ребёнок потом не помнит ни одной его фразы. Он помнит, что было тепло, и что это было тепло ровно в одном месте — там, где ладонь.

Я вспомнил эту ладонь, когда мне было сорок один, в метро, в двенадцать шагов от собственного дома. Жена умерла за четыре месяца до этого. Я ехал к себе домой — в квартиру, где ещё стоял её свитер на вешалке — и вдруг понял, что не помню, как пахнет её кожа. Не волосы, не духи, не ткань: кожа. Запах кожи я помню у матери, у бабушки, у одного случайного человека в поезде. У жены — нет. Я стоял

на «Петроградской» и перебирал всю жизнь, как перебирают карман, в котором нашли дыру: где-то же было.

Кто-то, наверное, скажет, что это выдумка, что запах кожи не хранится отдельно от запаха тела в целом, что обоняние работает комплексами и никакой «кожи» в нём нет. Возможно. Но тело не спрашивает у науки разрешения на то, что оно помнит. Оно помнит кожу. И оно помнит её именно потому, что кожа была единственной частью Марины, к которой я прикасался каждый день, не думая об этом, — а такие вещи, как известно, выпадают из памяти первыми.

Я тогда подумал: тело — это то, что мы теряем первым. Не память, не волю, не планы. Тело. Оно остаётся, ходит, работает, водит автобус, отвечает на письма, — но оно перестаёт быть тем, чем было. И никто этого не замечает, потому что спросить «как ты?» — значит спросить «как дела?», а не «как ты?».

Через три месяца после похорон я записал первую строку этой книги: «Я хочу понять, как устроен язык, на котором мы разговариваем с другим человеком, не прикасаясь к нему». Я записал и не знал, что с этим делать. Я не сексолог, я не врач, я не психолог. Я редактор: двадцать лет я читаю чужие тексты про садоводство, городскую историю, один раз — про то, как устроен часовой механизм в швейцарских часах. Моя профессия — придирчивость к слову.

Но я много лет жил с телом, которое не понимало, что оно делает. Оно выполняло функции: встать, сесть, доехать, от-

ветить, заснуть. В теле не было ошибки — оно было в аварийном режиме. Это трудно описать человеку, который не пробовал, потому что большинство людей этого не замечают: пока тело работает, его не видно. Видно его, когда оно перестаёт.

Эта книга — попытка сделать тело видимым. Не в смысле обнажить его: в смысле перестать его не замечать.

Книга устроена пятью частями, и это не каприз.

В первой части — «Первый язык» — говорит тело, которое ещё ничего не умеет: ребёнка, подростка, того, кто учится отличать «можно» от «нельзя» раньше, чем выучит алфавит. Это язык, который мы все знаем наизусть и почти никогда не обсуждаем, потому что стыдиться его не принято — принято стыдиться чего-то другого, а вот этого тихого, доязыкового слоя никто не замечает вовсе.

Вторая часть — «Другой» — о том, что происходит, когда два тела оказываются рядом и начинают договариваться. Это часть про ритм, про паузу, про слово «стоп», про смех, который звучит в неподходящий момент, и про «после», о котором все стыдятся говорить больше всего, потому что в нём нет ничего красивого: там пустота, сон, чай, уход.

Третья часть — «Власть и хрупкость» — о том, что тело никогда не остаётся только телом. В нём записаны сценарии: «настоящий мужчина», «настоящая женщина», «нормальный», «не как у всех». Они сидят не в голове, а в теле — в позе, в том, как человек занимает место в пространстве,

в том, как оно молчит в нужный момент. Эта часть — самая тяжёлая и самая нужная; в ней живут голоса людей, чей опыт обычно не попадает в книги о сексе, потому что книга о сексе — это, как правило, книга про молодых, здоровых, красивых и скучно устроенных.

Четвёртая часть — «Языки, которым не учат» — про то, о чём не принято говорить вслух: фантазии, одиночество, желание быть с несколькими людьми, деньги, веру и то, для чего в языке просто нет слов. Я не буду делать вид, что это «маргинальные» темы. Они маргинальные ровно настолько, насколько удобно считать их маргинальными.

Пятая часть — «Последний язык» — об утрате и памяти. О том, что чувства уходят не сразу и не полностью, а по частям, и о том, что тело помнит то, что ум забыл, — причём помнит не выборочно.

Несколько вещей, о которых надо сказать прямо, потому что иначе книгу будут читать не так, как я хотел.

Это не учебник. Здесь нет техник и нет пошаговых инструкций. Всё, что я могу, — описать, как устроено изнутри то, что мы обычно видим только снаружи.

Это не эротический роман. В книге нет сцен, которые сделаны для возбуждения. Близость здесь — не функция и не зрелище, а способ узнать другого человека. Я пишу об этом так, как пишут о музыке: не пересказывая ноты, а описывая, что происходит, когда их играют.

Это не исследование «нормы». В книге нет норматив-

ных утверждений. Ни одна глава не скажет вам, как правильно, сколько раз, с кем и в каком порядке. Единственное, что я считаю необходимым, — это согласие, и то, что оно должно быть живым, а не формальным. Всё остальное обсуждаемо.

Здесь говорят разные люди. В книге девятнадцать голосов. Они вымышлены — это мои, собранные из разных биографий люди, никто из них не является вымыслом одного конкретного человека, и я прошу об этом помнить, читая. Я дал им имена, города, возраст и работу, потому что без этого голос остаётся функцией. Их отличают от авторской речи внятные линии и то, что внутри монологов я не вмешиваюсь: не ставлю ремарок, не делаю выводов, не подсказываю, как это читать. Это их слова, и они имеют право оставаться такими.

Откуда вообще такая книга.

В двадцать лет я работал в редакции журнала о рыбалке, и однажды принес оттуда рукопись, где автор описывал, как он вставал по ночам к реке. Про стояние в воде, про холод, про то, что тело должно выдержать, чтобы поймать что-то. Редактор зачеркнул половину: «не по делу». Я вступился — и меня уволили. Это была первая книга, которую я прочёл целиком за две ночи, и первая, где я подумал, что о теле можно писать серьёзно, без пошлости и без стыда. В той рукописи это было сказано не о сексе, а о рыбалке. Но структура была та же: тело, которое знает, и язык, который ему подчиняется.

С тех пор я и пишу. Медленно. Плохо. По ночам, в блок-

ноте, а потом переношу в компьютер, где мой редактор Вадим спрашивает, зачем я в пятый раз переписываю абзац из трёх строк. Он прав, конечно. Он прав всегда.

Эту книгу я не сумел закончить быстро, потому что всё время выяснял, что не знаю половины того, о чём пишу. Я не знаю, что такое тело, когда оно не работает. Я не знаю, что чувствует человек, которого никто не хочет. Я не знаю, как звучит немота. Я знаю, что моя собственная — слышу её всё отчётливее, и с каждым годом всё меньше понимаю, чего я лишён.

Если книга получилась честной, это будет означать, что я смог сказать о вещах больше, чем знаю. Если не получилась — значит, я написал красиво о том, чего не понимаю. Я не знаю, что выйдет. Но второе издание, скорее всего, будет лучше, и в нём я напишу то, чего не хватило здесь.

Читайте. Если что-то покажется вам неправдой — это, скорее всего, моя неправда, и я предпочитаю, чтобы вы спорили со мной, а не откладывали книгу.

Вадим, ты это прочтёшь первым. Спасибо.

Дисклеймер

В этой книге описывается сексуальный опыт — в том числе темы травмы, насилия, утраты, болезни и телесной уязвимости. Некоторые главы могут быть тяжёлыми. Вы можете их пропустить: оглавление открытое, и это ваше право. Книга не содержит инструкций и не заменяет помощь специалиста.

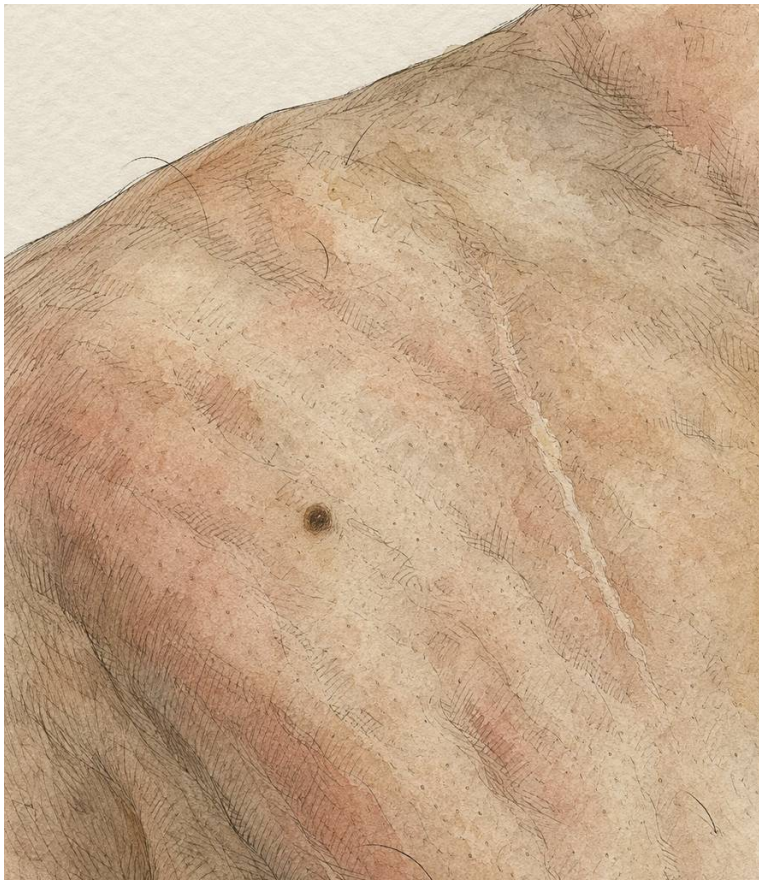
Все персонажи вымышлены. Совпадения с реальными

людьми случайны.

Часть I. ПЕРВЫЙ ЯЗЫК

О том, как тело учится говорить до того, как научится ум.

Я пришёл к тебе с приветом
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало.
— А. Фет



Кожа

Дед приехал в июне, на три недели, с чемоданом из кожзама и авоськой, в которой было столько вещей, что авоська

растянулась и потеряла форму.

Ваня встретил его на остановке. Автобус распахнулся, из него вышел дед — красный, в кепке набекрень, из-под кепки торчали серые волосы. Кепка всегда сидела набекрень: у деда от природы кривая шея, и Ваня так и не выяснил, кепка ли её кривит или шея кривит кепку. В одной руке дед нёс авоську, в другой — поменьше, и в обеих было ещё что-то.

Через забор залаяла собака, коротко и лениво, и перестала, потому что поняла, что это не к ней.

— Здравствуй, — сказал Ваня.

— Здравствуй, — сказал дед. — Ну, показывай, где вы тут живёте.

Дед сказал это и пошёл первым. Дорогу он знал.

Дом стоял в глубине сада, за профнастиловым забором; за забором — гараж с бетонным полом, в гараже пахло бензином и холодным железом. Дальше, за гаражом, — баня, дощатая, с трубой на два ската. Через два дома ходил трамвай, и когда он дёргался на ухабе, в доме звенели чашки в буфете.

Внутри пахло сеном: сено лежало на чердаке, жара проникала вниз через щели в потолке, и от этого весь дом пах летним сеном, как сеновалка. На стене висела старая карта, на которой Ваня знал только одно место — реку.

Дед поставил чемодан в прихожей, посмотрел на карту, потом на Ваню.

— Ну, — сказал он, — вырос.

И положил ладонь ему на затылок. Ладонь была жёсткая,

тёплая, в мозолях от руля, пахла табачным дымом и машинным маслом — тем, что остаётся на руках, если долго возиться с чем-то железным. Держал он её секунды три, с тем спокойствием, с каким кладут что-нибудь на место: вроде бы и не глядя, а попал.

Потом убрал.

В авоське у деда оказались банка с вареньем, свёрток с носками, газета за прошлый год и коробка из-под конфет, в которой лежали два яблока и пачка «Примы». Дед разложил всё на тумбочке, как раскладывают инструмент, и половина выкатилась под шкаф, и он полез за ней на коленях, а Ваня стоял в дверях и смеялся.

В раковине дед не смог закрыть кран: втулка заела, и он вертел её пальцами, пока не отвернул рукой, оставив в раковине мокрую тряпку.

— Сколько тебе теперь?

— Семь.

— Семь, — повторил дед, как пробовал слово на вкус. — А в прошлый раз было шесть. То есть ты целый год вырос.

Он сел на край стула в прихожей, и стул чуть качнулся, потому что дед был тяжёлый, а стул — старый, с перекошенной ножкой. Потом встал, и колено у него ходило с опозданием: он уже стоял, а колено ещё догоняло, от этого спина выпрямилась сама, будто отвечала за колено.

— Сорок лет этому колену, — сказал дед, не оборачиваясь. — Ты посмотри, какая у меня палка. Ни колен, ни ло-

паток.

Он похлопал себя по бедру и усмехнулся. Куря, дед сплёвывал в сторону, двумя короткими плевками, и у этого было своё правило: в чужой двор не плюнуть, в воду не плюнуть, в свой — можно. Ваня видел, как дед сверялся с этим правилом, быстро и серьёзно, как сверяются с расписанием.

— Пахнет дымом, — сказал Ваня.

— Это я, — сказал дед. — Я и есть дым.

Он достал из кармана пачку «Примы», помятую, отдавил из неё две, одну закурил, а вторую протянул Ваня, будто это была конфета. Ваня не взял: курить ему не разрешали, и дед это знал. Протянул, чтобы посмотреть, как Ваня откажется, и убрал обратно сам, довольный.

Дым ушёл вверх, к чердаку, к сену.

Ваня спросил, где дед будет спать, и дед сказал: «Где скажешь». И поставил авоську в коридоре, и больше ничего не объяснил, и Ваня пошёл показывать, где душевая, а дед остался в прихожей и вытирал ботинки тряпкой, аккуратно, по одному, держа их носком вверх.

— Пойдём, — сказал дед. — У меня тут ещё баня не растоплена.

. . .

Переход до трамвайного кольца шёл через посёлок, и дед вёл его за руку. Ровно до поворота, где тротуар кончался и начинался асфальт.

— Дальше сам, — сказал дед. — Левой.

И положил ладонь ему на плечо, ровно посередине, и больше не трогал.

Пока шли, дед объяснял. Сначала — налево. Потом — направо. Потом опять налево, потому что велосипедисты едут с другой стороны и думают, что их видно. Потом — вперёд, не останавливаясь, потому что остановиться на дороге — это стоять на дороге, а стоять на дороге хуже, чем идти.

— А если машина? — спросил Ваня.

— Машина — это машина, — сказал дед. — Машину слышно. Ты слушай, а не смотри. Услышал — стой. Не услышал — смотри.

Асфальт на солнце давал свой запах — варёный, сладковатый, — и Ваня подумал, что город пахнет как старый хлеб, который забыли на сковороде.

На переходе была выбоина с водой, и от неё пахло бензином и мокрым асфальтом. Светофор мигал с двух сторон сразу, так что и остановиться можно было, и не остановиться; дед объяснил, что в их городе светофор работает по договорённости, а договорённость держится на том, что все её соблюдают.

По переходу, разбрызгивая воду, проехал грузовик с песком; вода разлетелась по асфальту веером, и Ваня отскочил, но всё равно наступил. Дед стоял на краю и не двигался, пока грузовик не уехал.

— Идут, — сказал дед.

Ваня пошёл через дорогу, и ладонь деда лежала у него на

плече, и через три шага он дёрнул плечом — резко, вбок, всем весом. Ладонь снялась.

Это было первое, что Ваня сделал сам: не по слову, а по слову, которого он ещё не умел произносить. Не хочу.

Дед остановился. Он не сказал «что не так», не стал удерживать. Просто убрал руку и пошёл следом, на полшага позади, и Ваня перешёл дорогу один, и на середине, где выбоина, шагнул в лужу, и обувь у него промокла, и холод пошёл по ступне вверх.

На тротуаре дед остановился, засунул руки в карманы и посмотрел на него.

— Ну?

— Мокро, — сказал Ваня.

— Ну, — сказал дед. — А я думал, ты его обнял.

И пошёл дальше. Ваня стоял, и на плече, где лежала ладонь, было холодно. Там, где только что было тепло, теперь было пусто, и пустота была неприятной, потому что тело уже знало, как это — когда тепло, и сравнило.

Через два шага дед опять положил ладонь на плечо. Ваня не стал её стряхивать. Но запомнил.

— Дед, — спросил Ваня, — а зачем ты мне на плечо клал ладонь?

— Чтобы ты знал, где я, — сказал дед. — Когда человек рядом, не надо всё время искать его глазами.

— А если я отойду?

— Тогда я тебя догоню, — сказал дед. — Но искать не

надо.

. . .

Река была за посёлком, за полем с колосьями, и до неё надо было спуститься по тропинке между зарослей конопли. Тропинка раздваивалась у старой трубы, и дед всегда сворачивал налево: направо — болото.

Дед нёс удочку — древнее рыболовное копьё из двух частей, из которых одна была телескопическая, стёртая до блеска. Ваня нёс ведро и банку из-под масла, в которой шевелились червяки, и старался их не разглядывать.

Пахло скошенной травой и нагретой водой. Река была неширокая, мутная у берега, с травой в воде и рыбьими кругами у кустов.

Ваня спросил, сколько надо ждать. Дед сказал: «Столько, сколько надо». Потом добавил, что рыба не торопится, а человек торопится, и поэтому человек ловит плохо.

— Стул есть? — спросил дед.

— Нет.

— Тогда сиди на корточках.

Дед раскурил «Приму», спрятал пачку обратно в карман — так, будто прятал не курево, а деньги, — сел на корточки, закинул удочку, посмотрел на поплавок.

— Жди, — сказал он.

Ваня ждал минуту, две, пять. Ноги затекли, спина заболела, и вода шумела в камыше, и это было скучно. Он стал смотреть на деда. Дед не скучал: сидел с закрытыми глазами

и слушал что-то в том, что происходило с водой.

— Слышишь? — сказал дед.

— Музы?

— Не знаю, — сказал дед. — Хлопает.

Ваня стал слушать. Хлопало, потому что где-то вверху лопнул пузырь и по воде пошла мелкая рябь, как если бы кто-то провёл пальцем по столу, а потом ещё раз, и ещё.

— Вот, — сказал дед. — Лопнуло. Сейчас клюнет.

Ваня не поверил, но через минуту поплавок дёрнулся, ушёл вниз, и дед, не торопясь, положил удочку на колено, взял Ваню за руку и вложил в неё удочку.

— Держи. Не дёргай. Пока не тянет — не дёргай.

— А если тянет?

— Тогда дёрни, — сказал дед. — Не раньше.

Руки у деда были в мелких уколах, как будто он всю ночь возился с иголками, и пахли рыбой и табаком. Ваня поставил свою ладонь на его ладонь, и дед посмотрел вниз, ничего не сказал, но ладонь под мальчишечьей не убрал.

Рука была мокрая от росы, и от холода в ней ничего не чувствовалось, кроме того, что дерево шершавое. Ваня стоял и держал удочку, и в голове у него было одно: тянуть или не тянуть.

— У меня мёрзнут руки, — сказал он.

Дед посмотрел на его пальцы, на красные ногти.

— Подыми, — сказал он. — К себе, к груди. И не стучи. Стук он слышит и уходит.

Ваня поднял руки к груди и стоял так, пока поплавок не дёрнулся снова. Выдернул он плохо, рыба соскочила, плеснула и ушла в траву, но дед сказал:

— Главное, что не отпустил.

Потолок затянуло тучами. Ветер пошёл с поля, запахло мокрой землёй, и на этот запах, от которого заныли колени, дед посмотрел вверх.

— Всё, собираемся. Сейчас лить будет.

Они шли к автобусу по тропинке, и Ваня нёс ведро, в котором плескалась одна маленькая рыба, белая, с узкой головой, похожая на маленькую кость.

— Это что? — спросил Ваня.

— Окунь, — сказал дед. — Маленький.

— А мы его… — Ваня не договорил.

— Ведро с собой, — сказал дед. — Дома разберём.

Идти было быстро, почти бежать, и Ваня бежал, ведро подпрыгивало, вода плескалась через край, на штаны, на кроссовки, и холод пошёл по ногам, но он не останавливался, потому что было весело и потому что дед бежал рядом быстрее, хотя колено, казалось, должно было мешать.

Дождь ударил, когда они были у самого автобуса: сначала крупные капли, потом стена. Дед втянул Ваню под навес остановки и накинул на него свою рубашку — мятую, пахнущую табаком и машинным маслом.

— Дыши носом, — сказал дед. — Через рот — это для того, чтобы пить.

. . .

Баня растопилась к вечеру, и к вечеру же Ваня понял, что баня — это не про жару, а про то, кто кого трогает.

Дед колол дрова, показывая, куда класть: тонкие — сбоку, толстые — в середину, и сразу подметать пол, пока не пригорело. Потом плеснул водой на камни, баня зашипела, задымила, и оттуда потянуло жаром, запахом хвои и сухой земли.

Внутри было темно и горячо. Ваня несколько раз спрашивал, где дверь, и дед отвечал: «Вот тут, где я». И Ваня проверял рукой и уходил, потому что верить на слово он не мог. Ваня сел на полотенце, и дед накинул ему на голову липкий берёзовый веник, окатил водой, прижал к спине.

— Сиди. Не дыши вниз, дыши вверх, в щель.

Потом ударил. Не сильно, но по спине пошёл такой звук, будто кто-то хлопнул полотенцем, только полотенцем было живое, и от удара кожа отозвалась сама, побежала вверх до самых плеч, и Ваня вскрикнул.

— Тише, — сказал дед. — Я не банщик, я слесарь.

Ваня стал проситься, чтобы били сильнее, но слова вышли такие, что дед засмеялся.

— Ну и ладно, — сказал он. — Я тебе и так сделаю. Сядь ровно.

Веником дед работал долго: по спине, по пояснице, по ногам, и каждый раз перед ударом замирал на полсекунды. Ваня в эти полсекунды успевал почувствовать всё: как ладонь ложится, как воздух сдвигается, как кожа ждёт. Дед бил и

сразу клал ладонь — горячую, сухую, в мозолях — на то место, где ударил, и кожа под ладонью звенела.

— Больно? — спросил дед.

— Нет.

— Тогда и не сильно.

— А тебе веник по спине не больно? — спросил Ваня.

— Мне всё равно, — сказал дед. — Я из тех, кто привык, что нужен.

Потом дед мыл его. Мыло было домашнее, тёртое на тёрке, в жестяной банке, и пахло оно не парфюмерией, а хозяйственным, с тем резким запахом, который бывает у средства, которое стирает по-настоящему. Дед намылил ладони, провёл по спине, по шее, за ушами, и Ваня закрыл глаза.

— Ну вот, — сказал дед. — Дыши. Вот так пахнет чистое тело. Никаких духов. Изысканный вкус — это когда пахнет мылом и ничем больше.

На шее, под волосами, всё было горячо, и там ладонь чувствовалась острее всего. Ваня сказал:

— Ещё.

Дед не стал спрашивать, что именно. Он намылил ладонь, положил её на шею, сзади, под затылок, и держал, пока веник остывал в ведре и пар переставал идти. Ладонь была горячая, от неё шло покалывание, и Ваня понял, что не хочет, чтобы её убрали. Не потому, что было приятно, а потому, что там, где ладонь, было безопасно.

— Посидим, — сказал дед. — Пусть остынет.

И сел рядом, спиной к стене, а руку оставил.

Это была та же ладонь. Ваня не знал, как это сказать, потому что ладони бывают разные, но эта была та же — в мозолях, с тем же запахом табака на коже, с тем же привычным весом.

— Дед, — сказал Ваня, — а ты устал?

— Да, — сказал дед. — Ноги. И колено. И вообще.

— А рука не устала?

Дед посмотрел на свою ладонь, будто она была чужая.

— Рука не устаёт, — сказал он. — Она для этого и есть.

На улице проехал трамвай, и стекло запотело. В бане стало слышно, как во дворе кто-то топчет доски: мать собиралась мыть полы, потому что накануне пролили воду.

Потом дед принёс из колодца ведро воды — холодной, колодезной, такой, что из ведра идёт паром. Вылил её себе на спину, и Ваня засмеялся, потому что дед крякнул, и звук вышел такой, что дед сам удивился.

— Вот, — сказал дед. — Теперь ты. Лей на плечи. Медленно.

Ваня лил, и вода стекала по дедовой спине, и от пара ничего не было видно, и дед опять крякнул, и Ваня опять рассмеялся, и в этом был весь вечер: жар, вода, смех, ладонь на затылке, которую дед положил, вытираясь, и убрал.

. . .

Отец приходил по вторникам и пятницам — с ночной смены. Ваня знал это наизусть: по понедельникам и средам отец

спал днём, а по вторникам и пятницам уходил в шесть утра и возвращался в три ночи. Работал он в депо, на сортировочной, и от него всегда пахло мазутом и железной пылью.

Вторник в июне выдался жаркий. Ваня не спал до трёх, лежал на половице в коридоре, потому что там было прохладнее, и слушал дом: не тишину, а другой звук — будка за забором, остывающая крыша, чайник у соседей, который в два часа ночи закипал с присвистом.

В три часа в дверь постучали. Не в домофон — в дверь, костяшками, два раза, сильно.

Ваня не шевельнулся. Он лежал и считал удары сердца, и сердце стучало быстрее, чем он успевал считать, и в горле стало мокро, хотя плакать он не собирался.

Дед открыл. На пороге стоял отец: чёрное до бёдер, сумка через плечо, лицо серое. Он вошёл и снял ботинки у порога — это был его порядок, и Ваня слышал, как он ставит их носом в стену, потому что порог был узкий.

— Здравствуй, — сказал дед.

— Здравствуй, — сказал отец.

Больше в прихожей ничего не сказали.

Отец пошёл в санузел, открыл воду и долго мыл руки, и вода шумела в трубах, и от этого шума в доме стало ещё тише. Потом он пришёл на кухню, сел и сказал:

— Есть?

— Хлеб, — сказал дед. — И колбаса.

— Колбасы не надо.

Дед поставил перед ним чай. Отец ел хлеб с маслом и пил чай, и разговор был про депо: про крышу, которая течёт, и про мастера, который «не говорит, а делает». Дед кивал и подливал чай. Оба говорили тихо, и это было то же, что отец в чужом ботинке: все в доме встали, будто это была не ночь, а час, в котором принято говорить шёпотом.

Мать была в другой комнате. Ваня слышал, как она повернулась на боку — скрип пружин, — и больше не слышал её. За дверью её комнаты света не было. Мать не выходила, но и не спала: дверь её комнаты скрипнула один раз, когда отец проходил мимо.

Отец доел, допил и встал.

— Пойду в комнату, — сказал он.

— Да, — сказал дед.

Мать вышла, когда отец уже проходил по коридору: в ночной рубашке, босая, с волосами, собранными на затылке.

— Сахар в буфете не кончился?

— Не кончился, — сказал дед.

Она кивнула и пошла обратно. Вот и всё: ни слова больше, ни взгляда в сторону кухни, где сидел дед с пустой чашкой. Если бы Ваня умел объяснять, он сказал бы, что они разговаривали о погоде, а говорили совсем о другом, и все это знали, и никто не хотел произнести это вслух.

Все встали в три часа ночи, и никто не сказал ни одного громкого слова — и тело поняло это раньше головы: сжалось в плечах, поднялось горло, стало тяжело дышать в комнате,

где все говорили шёпотом.

Ваня встал. Половица под босой ногой скрипнула, и он замер: скрип в три часа ночи в доме, где не спят взрослые, — это громко.

Он дошёл до кухни и встал в дверях.

Дед сидел у окна на локте и смотрел во двор. Он повернул голову, и Ваня увидел, что дед не удивился.

— Иди сюда, — сказал дед тихо.

Ваня сел на табурет. Дед положил ему ладонь на затылок и держал: тёплая, в мозолях, пахнет табаком и машинным маслом. От ладони Ваня понял, что всё то же самое — ночь, дом, все встали, и вот дед, и ладонь, и больше ничего не нужно понимать.

Он сидел так, пока мать не вышла из своей комнаты и не сказала в дверях:

— Ванёк. Иди спать.

Она смотрела не на деда, а на сына, и лицо у неё было обычное, дневное, только волосы распустились. Больше она ничего не сказала и ушла.

— Пойдём, — сказал дед.

Свет дед не включил: в окно шла луна, и было видно, как лежат половицы и как висит на стене платок. Ваня шёл впереди, дед — сзади: ладонь на затылке, а в другой руке — за плечо. Так идти можно было, не думая.

На середине коридора, у окна, дед остановился.

— Дальше я не пойду, — сказал он.

— Почему?

— Тут три шага, — сказал дед. — Ты их знаешь.

Три шага до кровати Ваня знал наизусть, проходил их по темноте сто раз, но ночью это было другое: темнота не та, и пол под босой ногой не тот, и три шага вдруг стали длинными.

Дед убрал руку с плеча.

Тело сразу почувствовало, куда делась опора. Не упасть — упасть он не боялся, — а перестать опираться. Плечо, за минуту до этого занятое чужой ладонью, стало пустым и холодным, и ему захотелось положить туда что-нибудь своё, но рука была занята, а второй рядом не было.

— Ну? — сказал дед.

— Ага, — сказал Ваня.

Он пошёл. Первый шаг получился быстрый, потому что он боялся, что если будет медлить, то не пойдёт вовсе. Второй — короче, потому что он уже считал. Третий — он сел на кровать, потому что край оказался там, где он думал, хотя в темноте ничего не было видно.

Он сидел на кровати и дышал.

— Ну как? — спросил дед из коридора.

— Нормально, — сказал Ваня. — Тут правда три шага.

— Там всегда три, — сказал дед. — А ночью они длиннее.

В дверях скрипнуло. Дед, наверное, хотел что-то сказать и не сказал. Потом всё-таки подошёл, положил ладонь на затылок — коротко, на три секунды, — и убрал.

— Спи, — сказал дед. — Я внизу.

Он ушёл по лестнице, и ступени под ним скрипели по одной, медленно, потому что колено.

Ваня лёг. Он не мог заснуть сразу, и не от страха, а потому что внутри всё ещё было тепло от ладони, и тело хотело удержать это тепло, придержать, не отпускать, но ладонь ушла, и осталось только то, что она оставила: тёплое пятно на затылке, маленькое, размером с монету, и оно медленно остывало.

Он уснул, когда оно остыло.

В шесть утра отец ушёл, тихо, и в кухне осталась тарелка с крошками и чашка в раковине. Дед повёл Ваню до остановки, всё равно шёл за хлебом.

На переходе дед положил ладонь на плечо — и убрал.

— Сам, — сказал дед. — Я тут постою.

Ваня перешёл один и остановился на середине, где выбоина, потому что привык останавливаться там, где была ладонь. Постоял, посчитал до трёх и пошёл дальше.

Дед ждал на тротуаре, руки в карманах.

— Ну? — сказал дед.

— Мокро, — сказал Ваня.

— Ну, — сказал дед. — А я думал, ты его обнял.

. . .

Прошло тридцать девять лет.

Дом стоял. Забор покрасили в синий, не в тот, что был; гараж перестроили, и теперь он был кирпичным, с ровным

полом; трубу на бане покрыли краской, и от неё пахло.

В доме всё равно пахло сеном: сено лежало на чердаке — новые хозяи завезли его на зиму, — и жара проникала вниз через щели в потолке, как проникала тогда.

Дед умер зимой, девять лет назад. Дом продали, потом купили, и с тех пор в нём живут другие. Ключ от дома дед оставил в конверте на тумбочке — «заходи, когда захочешь» — и это была его единственная распорядительность, и её никто не отменил.

Мужчина лет сорока шести с небольшим седым вихром на затылке приехал на автобусе, потому что машину не водил давно, и отпер дом ключом из конверта. Хозяев не было, они уехали на месяц, и он сидел на крыльце с жестяной кружкой, остывшей. Через забор гонял мяч соседский мальчишка и отбирал его у собаки, которая лаяла коротко и лениво.

Четвёртая доска от крыльца скрипела так же, как раньше. Он сидел на ней, и доска прогибалась под ним, и в этом прогибе, в этой знакомой неровности, было то, чего он не мог объяснить.

Он поднял правую руку и положил ладонь себе на затылок — так, как клал дед: ровно посередине, чуть ниже затылочного бугра, ладонью в волосы. И тогда пришло — не мысль, а ощущение: мозоли у большого пальца, жёсткая сухая кожа, запах табака и машинного масла, и тяжесть ладони, и то, как она ложилась и придерживала.

Рука не устаёт. Она для этого и есть.

Он убрал руку и сидел дальше.

Мимо прошла женщина с коляской, кивнула; он кивнул в ответ. Он подумал, что если бы его сейчас спросили, где он, — он не сказал бы, что у деда на крыльце, потому что деда не было девять лет, и ответить было бы не на что. Он подумал и о другом: из всех трёх секунд ни одного слова не прозвучало вслух, и если бы дед был жив, Ваня всё равно не смог бы объяснить, что именно тогда почувствовал, потому что для этого у него нет слов, и ему никто не давал урока, как называется то, что делает ладонь на затылке. Через дорогу, на углу, стоял гараж с распахнутыми воротами, и от него пахло железом на жаре, как пахло от дедова гаража тридцать девять лет назад. Мальчишка у забора уронил мяч, и собака схватила его, и он полез отнимать, и они копошились, не злиясь.

Мужчина вспомнил переход. Не этот — тот, много лет назад: как грузовик с песком разбрызгал воду и дед стоял на краю, не двигаясь, пока грузовик не уехал. Потом вспомнил слово «мокро», сказанное таким голосом, каким говорят о погоде, а в ответ — «А я думал, ты его обнял». Он помнил и запах мокрого асфальта, и то, как дед засунул руки в карманы, и то, что было на плече холодно там, где только что было тепло.

Он не помнил ни одной даты. Он не помнил, в какой комнате стоял стол, и какого цвета были шторы, и что было на ужин. Он не помнил даже лица — лицо у деда было из тех,

что невозможно описать: круглое, обветренное, и всё. Всё остальное — ладонь, мозоли, запах, тяжесть, три секунды, — лежало в теле, и лежало там с тех пор, как тело было маленьким и не умело об этом рассказывать.

Мысль пришла простая и не очень приятная: мы-то думаем, что помним, если нужно. А на самом деле всё наоборот. Мы помним не то, что решали помнить, а то, к чему прикасались. Голова держит то, что было сказано, тело — то, что было положено на кожу. И держит это тело без всякой помощи со стороны: нигде не записано, ни в какой тетради, ни в какой анкете при поступлении в школу, ни в каком архиве — лежит ладонь, и лежит, и достаётся сама, когда кто-то кладёт тебе руку на затылок.

Мальчишка у забора отнял мяч и сел на перевернутое ведро. Мужчина допил остывший чай, поставил кружку на перила и встал. Доска под ним отпустила с тем же скрипом, с которым тридцать девять лет назад скрипела под дедом.

Он спустился с крыльца и пошёл к автобусу, и на затылке у него было сухое и тёплое, будто ладонь легла и не ушла, и он знал, что это не его, но отпустить не мог.

Память тела хранится не в голове. Она хранится там, где ещё ничто не названо.

Стыд

Стыд начинается с температуры.

Не с мысли — с жара в груди. Под ключицами, в ямке, где грудина расходится на две доли; жар идёт сначала в од-

ну, потом во вторую. Лицо становится горячим, ладони — холодными. Я знаю это тело изнутри сорок с лишним лет и описываю его с точностью, которой стыдно: точность здесь и есть улика.

Тело, в котором идёт стыд, делает три вещи, и все три я помню не умом, а кожей.

Первое — поднимает жар в груди и в лице.

Второе — хочет провалиться сквозь пол. В первом классе я знал, какого цвета линолеум в кабинете: жёлтый, с коричневыми прожилками. И знал, что если бы под ногами оказался разрез, я бы в него ушёл. И «ушёл бы» тут было не про бегство, а про то, что в разрезе не требуется объяснять, кто ты и откуда. Исчезновение было бы уважением: там не оценивают.

Третье — в глаза наливается влага, которая не падает. Слёзы стоят, не вытекая; их не видно, если не смотреть в зеркало, видно их иначе: мир становится мягким по краям, моргание перестаёт помогать, и ты щуришься, а это выглядит как обычное щурение. Стыд — единственное сильное чувство, которое умеет прятать само себя.

Гнев виден: он поднимает плечи, роняет челюсть, его слышно. Страх виден по плечам, и слышен он тоже, если человек умеет слышать. Стыд работает внутри и не сообщает о себе ничем, кроме влажных глаз. Поэтому за стыдом всегда стоит кто-то, кто смотрит. Не потому, что этот кто-то оценивает, — потому что ты знаешь: смотрит.

Отсюда, наверное, и всё, что я про это понял.

Стыд — не про то, что «плохо». «Плохо» — это оценка, оценка приходит снаружи, у неё есть адрес в человеке: вот этот поступок, вот эта привычка. Стыд про другое. Стыд — это когда тело понимает, что его поймали: здесь я — не тот, за кого себя выдаю. Разрыв между тем, как меня видят, и тем, кто я. Тело узнаёт об этом раньше, чем ум: сначала жар в груди, потом слова, потом мысль.

И ещё: стыд всегда про чужой взгляд. Я долго это проверял и до сих пор не уверен, что проверил до конца. Иногда мне кажется, что бывает стыд, когда стыдишься сам себя, один, перед зеркалом, и никто не смотрит. Потом я думаю: зеркало — это и есть чужой взгляд, только подставной, и подставил его сам. Стыд требует свидетеля, но свидетель не обязан быть живым.

. . .

Первым моим зрителем была бабушка.

Не потому, что она была строгой. Строгого человека можно вычислить заранее: он скажет заранее, что нельзя, и ты заранее подготовишься. Вера Ивановна была не строгая, а внимательная, и это хуже. Внимательный человек не предупреждает. Он смотрит и молчит, и ты потом гадаешь, что он увидел.

Она жила в Екатеринбурге, в частном доме — кирпичном, на две семьи, с общим санузлом и погребом под ним. В погреб входили через дверь в коридоре: сначала тёмный там-

бур, потом двенадцать ступеней вниз, потом цемент, земля, банки с огурцами, капуста в бочке, мешок картошки, проволочный плафон с одной лампочкой. Там был свой холод, не зимний, а земляной, и запах сырой земли и закисшего хлеба. Я помню этот запах до сих пор: стоит открыть погреб в чужом городе — и я там.

Правило у неё было одно: в погреб ходят по делу. Отдыхать, сидеть, лежать — нельзя. Она говорила это весело, будто о погоде.

Летом, в августе, в доме бабушки у меня была комната на втором этаже, окно на юг, и ночью я не мог уснуть. Не от жары даже — от того, что тело не умело лежать. Оно не находило позы: ноги перекладывались, руки не знали, куда деться, и всё это сопровождалось мыслями, которых я не помню, но помню их беспокойство. Я пошёл вниз, в погреб: там прохладно, там цемент, там темнота. Я лёг на пол, на спину, в одной футболке, босиком.

Она пришла за картошкой.

Я слышал, как открылась дверь тамбура, потом шаги — и они остановились. Я не шевелился. Мне казалось, что темноты и бетона достаточно, чтобы меня не было: не двигаешься — и тебя нет.

Она стояла. Потом: «Ты что в темноте лежишь?»

Голос был не сердитый, а растерянный: она искала, кому говорить, и решила — мне.

Я сказал: «Жарко наверху. Внизу прохладно.»

Она помолчала. Потом сказала: «Ну так и скажи. Тело своё в узде держи. Грех — это когда тело командует.»

И ушла наверх. Мешок картошки остался внизу, и я с ним пролежал, кажется, минут двадцать, пока не кончился жар в груди.

Что она имела в виду под «грехом», я не знаю. Думаю, ничего сексуального: в её употреблении это было про то, что тело живёт по-своему, и про то, что человек, который за этим следит, — молодец, а тот, кто не следит, — грешен. В её словаре «стыдно» и «грех» стояли рядом с «в узде держать», «не распускать», «смирно». Это был не запрет на удовольствие, а запрет на то, чтобы тело вышло из-под власти раньше, чем человек его выпустит.

Мне было пятнадцать, и я не знал, что с этим словом делать. Помню только: я не покраснел тогда, в погребе, в темноте. Я покраснел потом, когда поднялся по ступеням, — щёки горели, и я думал, что это от жара, хотя в погребе было прохладно.

То есть дело было не в слове. Дело было в том, что человек, которого я считал самым понятным в мире, увидел меня в состоянии, для которого у меня не было названия. Я знал, что я — внук, мальчик, который себя ведёт. А я был телом на холодном бетоне, и бабушка это видела.

. . .

Школьный стыд был не один, а три, и у каждого была своя температура.

Первый — в классе. У нас была Нина Аркадьевна, русский язык, доска с жёлтой краской по краям и трещиной вверху, мел, носки на батарее. Когда она говорила «кто прочитал» и обводила рукой ряды, ты успевал понять, что назовут: тебя ведь записали в журнал. Тело делало это раньше, чем успевала думать голова, — жар в лицо, ладони под парту, где темно, тепло и их можно спрятать. Смех класса — самый короткий звук, который я слышал в своей жизни, и самый громкий.

Второй — раздевалка.

Она была при спортзале: крючки в два ряда, скамья посередине, деревянный пол, на котором ноги скользили, и три крана в душевой — из одного горячая вода, из второго холодная, третий не работал никогда. Запах был один на всех: хлорка, мокрые футболки, пот и чей-то дезодорант из одной бутылки на весь класс.

Мылись по двое. Очередь не объявляли, но она была, и у неё был свой порядок, который мальчики четырнадцати лет вычисляли без слов: кого моют последним, кого не моят при всех, кто задерживается дольше всех.

В девятом классе я был на двадцать шесть килограммов тяжелее, чем следовало, и это было видно со спины. Футболку я никогда не снимал до конца: приподнимал, вытирал шею и опускал обратно. Если кто-то подходил, я отступал к стене и делал вид, что завязываю шнурки, хотя шнурки были завязаны. В раздевалке я узнал то, что потом пригодилось:

не «чей душ», а «чья очередь». Место в очереди — это и есть место в классе, только без всякого урока.

Третий — учитель физкультуры.

Сергей Николаевич, лет пятидесяти, в очках с толстыми стёклами и в олимпийке, со свистком на шее, от которого пахло табаком и машинным маслом. Он не злился на меня. Он говорил: «Ну ты опять в углу стоишь, иди к народу». Или: «Кто освободился? Давай на вольную гонку». И всё. Ничего плохого он не говорил. Но он выбирал, кого назвать, а кого не называть, и я никогда не был в списке названных.

На физкультуре стыд был общий, коллективный, и в этом была его единственная отрада: стыдно было всем. Соревновались в беге, в жиме на перекладине, в прыжках в длину, и каждый знал, что его тело — не то, за что его принимают в классе. Стыд без слов и без причины: не за то, что плохо сделал, а за то, что тело вот такое.

И вот что я тогда не понял, а теперь понимаю. Тридцать человек смотрели, как я раздеваюсь; тридцать человек смотрели, как я не раздеваюсь. В первом случае стыд был в теле, во втором — в глазах. И разница в том, что тело в первом случае не сделало ничего, а во втором не сделало почти ничего — и этого «почти» хватало, чтобы стыд не кончился.

К тридцати годам я выработал приём, которому потом отдельно стыдился: стал неприметным. Стал входить сбоку, садиться у края стола, говорить ровным негромким голосом, ходить в толпе так, чтобы меня не было видно сзади. Не для

того, чтобы меня не видели, — для того, чтобы меня не видели, пока я смотрю. Стыд отступал не от того, что я перестал стесняться, а от того, что нашёл, куда деть собственный взгляд.

. . .

Потом стыд переехал в интернет, и стал тяжелее, хотя сразу это было не видно.

В 2002-м мы с соседом делили одну телефонную линию. Интернет был событием: свист модема, счётчик, исчезновение в никуда на десять минут. Калькуляторный, диалапный, тормозной, и от этого — торжественный. В форумах у каждого был свой ник, свой почерк, свой аватар, и можно было быть кем угодно, кроме себя. Это было сначала облегчение.

Потом появились фотографии.

Фотографий было много, и оценивали их охотно: «хороший парень», «а чего такого», «ну ты, извини, не наш». Оценивали по мелочам, но по тем же самым, по каким оценивают в раздевалке: полный или нет, волосы на ногах есть или нет, кожа чистая или нет, уши торчат или нет. Я выложил свою фотографию один раз, в 2006-м, в разделе «знакомства». Мне написали трое. Двое — по делу. Третий написал: «Ты как мой дядя, только хуже». Это было жестоко, но он был первый, кто ответил, и я помню, что именно это меня тогда и удивило.

После этого я выкладывать перестал. И тогда я подумал, что глаз в мониторе тяжелее живого глаза. Живой человек

отвернётся — и ты хотя бы увидишь, куда, и это куда-то даст. В мониторе отвернуться некуда: пишущий не виден, имя выдуманное, а строка уже написана, и её прочтут ночью, когда тебя рядом не будет.

В интернете некуда отвернуться.

Потом, когда интернет стал быстрый и в него пришли фотографии со всех сторон, я понял одну вещь. Тогда стыд был не про то, что меня описали. Стыд был про то, что описание оказалось правдой, — и я не знал, что с этим делать. Не «плохо», не «страшно», а зазор: между тем, кем я себя выдавал, и тем, кем меня оказалось.

. . .

Дальше — документальное кино, потому что в нём я увидел одну вещь про стыд, которой не видел нигде.

В игровом кино тело показывают красиво: подсвечивают, подкрашивают, выбирают ракурс, в котором пот не виден. В документальном — камера стоит рядом с телом и не отводит глаз.

Есть лента, снятая на телефон, втроём, без ведущего: бассейн в спортивном комплексе, вода мутная, бортик облицован плиткой. В кадре — люди тридцати, сорока, шестидесяти лет, которые не умеют плавать. Одна женщина говорит: «Я всю жизнь боялась, что меня увидят и скажут, какая я грузная». Камера стоит на уровне бортика, и она не отводит глаз, когда женщина выходит из воды, и не отводит глаз, когда вода с неё стекает, и не смущается.

Я смотрел это и думал: вот оно. Стыд — это когда на тебя смотрят и отводят глаза, потому что не знают, куда их деть. В этой ленте никто не отводит глаз, и никто в кадре не стыдится, и это не потому, что там смелые люди. Там обычные. Камера не извиняется за то, что показывает.

Стыд в кино снимают редко. Чаще его вырезают: из интеллигентской жалобы на режиссёра, из монтажа, где плач становится приёмом, из финала, где герой выходит на солнце и говорит, что ему больше не стыдно. Стыд, снятый без разрешения, — худшее, что бывает в кадре, и самое честное.

Кстати: я двадцать лет правлю чужие тексты, и почти в каждом слово «стыд» стоит там, где автор хотел сказать «неловкость» или «страх». Стыд в чужой рукописи всегда приходит с подпорками: «стыд», «как же неловко», «и так далее». Я вычищаю подпорки и оставляю слово, и оно встаёт ровно. Оно и без подпорок ничего не значит, кроме одного: кто-то посмотрел.

И вот тут у меня сомнение, и я не знаю, как его снять.

Если стыд — это всегда про чужой взгляд, то почему он бывает в пустой комнате? Перед зеркалом, перед фотографией, перед самим собой, когда никого нет и смотреть некому. Значит, зритель — не причина, а повод. Или зритель не нужен вовсе, и нужен только тот, кто внутри тебя самого смотрит и сравнивает.

Может быть, точнее так: стыд — это когда ты сам становишься для себя чужим. Чужим тебя делает взгляд, но чу-

жим ты становишься сам, и никакой взгляд обратно тебя не вернёт.

Ещё одно. У Овидия есть Актеон: он увидел то, что видеть ему было нельзя, и был превращён в оленя, которого растерзали его собственные собаки. В этой истории нет злодея. Его наказало тело: оно перестало быть его и стало тем, на что смотрели, — на него смотрели со всех сторон сразу. Я не знаю, что из этого следует. Но ощущение узнаваемое: в момент стыда тело перестаёт быть своим.

Первое, что делает стыд, — он уменьшает тело. Не дышит, не говорит, не смотрит — уменьшает, чтобы его стало меньше. И всё, что потом говорят про стыд, — это разговор о том, как его обратно развернуть. Или о том, что разворачивать не надо.

Дальше — один человек. Тридцать один год, автозавод, моторный цех. Ниже — он сам, целиком.

. . .

Голос 1. Тимур, 31 год, Набережные Челны, слесарь на автозаводе.

Меня зовут Тимур. Мне тридцать один. Я слесарь на автозаводе, моторный цех. Смена с восьми до восьми или с шести до шести, как повезёт. Жена — Ленка. Мать — Зоя Петровна, работает в столовой, на раздаче. Отец живёт отдельно, пьёт, мы не разговариваем с четырнадцати лет.

Про раздевалку я расскажу первым делом, потому что с неё всё началось.

Мы жили тогда в общежитии при заводе, я на втором этаже, комната на четверых. Мне было двенадцать, четвёртый класс, физкультура. Учитель — Виктор Степанович, мужик нормальный, аккуратный даже. Выкрикнул при всех:

— Тимур, ты чего как колода. Кому ты такой нужен.

Тридцать человек посмотрели. Все засмеялись. Я тоже засмеялся, потому что что ж, всем смешно.

Дальше так. Сначала я выходил из раздевалки последним, когда все расходились. Потом стал уходить в душевую: там темно, стоит таз, вешалка на крючке и сырость такая, что хоть вешайся. Переодевался в углу, на корточках, потому что на корточках было тесно и ног не видно.

Два года я так ходил. Один раз ко мне подошли, спросили, почему я в санузел иду. Я сказал: раздевалка там. Не поверили, но разбираться не стали.

В восьмом классе сдавали на паспорт. Фотограф сидел, мать сказала: «Улыбнись». Я не улыбнулся, и на фото вышел как в тюрьме. Мать потом смотрела и говорила: «Хороший ты у меня». И я знал, что врёт, и знал, что она не врёт.

И ещё одно. Меня тогда никто не бил. Не было так, чтобы кто-то дал по шее. Было — не как у всех. Взрослые говорили: «Ой, ну посмотрите на него». И это было хуже, чем если бы дали по шее. По шее — это понятно. А это значит, что ты какой-то другой, и ты не такой, и с тобой всё. Я это слышу двадцать лет. В цеху то же самое, только мужики: «Тимур, ты чего как трактор, ты бензин не подвози». Ну и подвожу.

Только всё равно.

Жар в груди был такой, будто я кипятка глотнул. И ноги ватные. И была мысль — если бы земля под ногами разверзлась, я бы в неё ушёл. Звучит глупо, если произнести вслух. Тогда это было единственное, что помогало. Дышать в пол, вниз, где темно и никто не видит.

А вот про слёзы я не знаю. Слёзы, может, и были. Я их не видел: я всё время смотрел в пол. Вот и всё, что я помню, — пол, плитка, чёрные швы. Или я это сейчас придумываю.

. . .

В двадцать четыре у меня была первая, Ленка. Полгода ходили. Красивая была, мне — самая. Познакомились на автобусе: она встала, я уступил, она сказала «спасибо», и всё. Потом ещё два месяца ездили вместе, и она выходила на моей остановке, и я ждал.

Она пахла духами, я тогда не знал, что это духи. Думал — красиво пахнет. И только потом, в душевой, понял, что запах — это тоже одежда, и что у меня она серая.

Потом она сама пришла ко мне вечером, на второй этаж, в комнату, где кроме нас никого не было. А я только что со смены: роба, руки в машинном масле, волосы мокрые после душа. Но душа у меня в цеху, на проходной, холодная, на пять минут.

Она вошла, посмотрела на меня и сказала:

— Тимур, ты чего, в баню не ходишь?

Я говорю: хожу.

Она: ну и ходи чаще.

И засмеялась.

Ну, то есть она не подумала ничего плохого. Это понятно. Смешно же — я реально вонял: краска, масло, ещё что-то от станка. Но у меня внутри всё сразу стало холодно, аж в ушах затрещало. Потому что она это сказала вслух. Про себя я и сам знал. Вслух — это когда другой человек.

Я потом полчаса стоял под душем в общежитии, вода была ледяная, а я не выключал. Не помню зачем.

А потом началось вот что. Я стал мыться на проходной, до смены, холодной водой, в январе, в цеху. Начальник цеха ругался: «Тимур, ты мне полы вымоешь мокрыми сапогами». Я говорю: у меня смена. Он: ну и что. И больше не ругался. И ещё я стал проверять: подойду к станку, наклонюсь и понюхаю свой рукав. В цеху. При всех. Прятал, но нюхал. Это вот что стыд делает с человеком.

И мыло я купил душистое, в магазине, не помню как называлось. Мыл им руки по десять раз в день, до ломоты. Ленка потом говорила: «Тимур, ну ты чего в духи-то ударился?» Я ей объяснил, что неделю работал в цеху и не мылся. Она посмеялась. А я больше не стал.

. . .

Мать у меня тут, в общежитии на третьем этаже, комната на шестерых. Хлеб, картошка, компот.

Мать никогда меня не ругает. Вообще. Она спросит: ты поел? И всё.

И вот я прихожу ночью со смены. Час ночи, автобус уже не ходит, иду пешком через промзону, мимо проходной, мимо забора, где свет фонаря идёт пятнами. Я в робе, руки чёрные, глаза красные, зубы стучу.

Я знаю, что она откроет, и спросит, и я скажу: поел. И я не поел. И я не могу сказать — не поел. Потому что тогда надо объяснять, а объяснять я не умею. Сказать «не поел» — это сразу стать маленьким. Не усталым, а маленьким.

И вот я подхожу к двери, вижу, как за стеклом горит свет, и у меня в груди начинается этот жар. Перед матерью стыдно сильнее всего. Не потому что плохой. А потому что весь я — в робе, с мозолями, с красными глазами — не такой. И главное: я для неё никогда не такой, и я это вижу каждый раз, когда открываю дверь.

Она открывает, смотрит и говорит:

— Ты поел?

— Поел, — говорю я.

— Молоко в холодильнике, — говорит она.

И знаете, что я иногда злюсь? Что она не жалеет. Жалеть ведь значит решить, что тебе плохо. А я и не знаю, плохо ли мне.

И больше ничего. И я иду к себе на второй этаж, и сажусь на кровать, и сижу в темноте. И знаю, что она не спросит, откуда я в час ночи. И что она не спросит, потому что я не прошу. И от этого ещё хуже: мы оба делаем вид, а внутри у обоих одно и то же, и никто не говорит.

. . .

Жену мою зовут тоже Ленка. Да, та самая. Мы семь лет, живём то вместе, то отдельно, сейчас снимаем однушку. Ипотеки нет, и это не тема. Зарплата шестьдесят две тысячи, аренда девятнадцать, машина в кредит, и я её выплачиваю.

Вот про стыд скажу главное. У меня бывает так: лежишь, и хочется, и тело — всё. А оно: нет. Не больно, не холодно — нет. Ты позвонил в домофон, а никто не открывает. И ты стоишь и ждёшь, и понимаешь, что не откроют.

И вот что стыдного-то. Не то, что отказал. Отказать — это «не сегодня», это ты имеешь право, это ерунда. Стыдно от того, что не получилось. Что тело не пришло. Ты лежишь с человеком, а сам как в гвоздь. И если ты это скажешь — ну, ты же не знаешь, как это сказать. У меня в башке для этого слова нет. Я поэтому в сторону ворочаюсь и делаю вид, что сплю.

Она потом спрашивает: «Ты устал?» Я говорю: да. И она: «Тогда иди поспи». И всё. И я лежу, и смотрю в потолок, и считаю: сколько минут прошло, сколько ещё надо, во сколько смена.

Завод — это шум. У нас в цеху такой гул, что в наушниках не поработаешь, а без наушников через две смены голова гудит. Мы красим кузова, подвешиваем, потом собираем моторы. Руки у меня до локтей сухие и в трещинах, а ногти чёрные, и не от грязи, а от краски, и не смывается.

И ещё. Желание я тоже стыжусь. Ну, в смысле — мысли в

цеху не те, что надо. Я их гоню. Они не мои. Придумал — и стыдно, и я её выгоняю из головы, и сижу дальше, и работаю. Мужики вокруг орут, музыку в цеху гоняют, а я молча сижу и думаю: если бы кто-то узнал, что у меня сейчас в голове, то... Тут и написать нельзя, о чём я. Вот и всё.

И про отказ. Друзья зовут в баню по субботам, городскую, за мостом. Я не хожу. Говорю — не хочу. Не говорю почему. Там раздевалка, там всё как в школе, и я знаю, как меня встретят. Один раз всё-таки пошёл, за компанию. Стоял у стены в тапке, переодевался, стоя, и никто ничего не сказал. И это было хуже, чем если бы сказали. С тех пор не хожу.

В общем, я не знаю, как это объяснить. Жар в груди, ноги ватные, и мысль: если бы земля разверзлась. На заводе это слово рабочее. «Не получается» значит — гайка не идёт, паз не тот, инструмент не тот. Не значит, что ты плохой. Значит, что в этот раз не вышло. Я двадцать лет слышу это слово на сборочном участке, и оно никогда не было про меня. А теперь оно про меня, и я не знаю, где оно кончается.

Мне тридцать один, моторный цех, третья смена — в шесть утра на станке. Жена в это время ещё спит. Я иногда встаю раньше, чем надо, и иду на работу пешком через промзону. И иду, и думаю: есть люди, которые в шесть утра от кого-то бегут, а я от себя бегу. И не говорю никому.

Вчера в раздевалке я мылся последним. Как в школе. Стоял под душем и думал: тридцать один год, а всё то же. Потом закрыл воду и пошёл в цех. Там то же: гайка не идёт —

меняют.

. . .

У Тимура стыд был про то, о чём я тут писал: про тело, про взгляд, про разрыв между тем, кого ждут, и тем, кто пришёл.

А у меня он был не про то, о чём эта глава, а про тело целиком.

В пятнадцать лет я был полный, и это не было «милое» и не было «смешное»: это было тело, которое не помещалось в то, что для него сделали, — в форму и в парту. Тяжелее всего было не то, что на меня смотрят, а то, что я занимаю слишком много места.

И две вещи, о которых я тогда не знал, что это стыд. Волосы на ногах: в четырнадцать мне сказали, что у меня ноги как у деда, и я вечером в ванной брил их бритвой до покраснения, и всё равно видел, что они растут. Запах: в тринадцать сказали об этом легко, как говорят о погоде, и я два месяца не подходил к людям близко.

И вот что я скажу прямо: когда я сажусь писать эту главу, я не помню ни одного из этих эпизодов. Этот стыд я не помню, когда пишу.

Слово

Ольга, 38 лет, Екатеринбург.

Я помню журнал. Второй класс, октябрь, двадцать шесть человек, и все они пишут букву «Ж» так, будто она паук. На странице это выглядит красиво. Вживую — страшно: двадцать шесть пауков на одной странице, и все уверены, что

пишут правильно.

Меня зовут Ольга Петровна. Я учительница начальных классов, тринадцатый год во втором классе. Школа кирпичная, с внутренним двором, в котором стоят три секции футбола и одна качель на цепи. Зимой дуга качели обмерзает, и дети всё равно туда лезут.

Мы с детьми двадцать минут в день говорим. Всё остальное время — читаем, считаем, рисуем, и всё это — слова. Я замечаю: слово «хочу» в классе почти не встречается. «Можно», «нельзя», «надо», «давай», «смотри» — вот наш основной словарь. А «хочу» — это домашнее, это из дневника, это то, что дети пишут в тетрадях по русскому языку и стирают.

Я их не спрашиваю, что они хотят. Я спрашиваю, что они сделали.

На родительских собраниях я говорю много. Это, наверное, единственное место, где я говорю так много. В зале тридцать человек, пластиковые стаканчики с кипятком из электрочайника, батарея под окном, от которой у задней стены жарко, и мальчишки на задней парте шепчутся. Мамы приходят с папками, папы с телефонами, и все они хотят знать одно и то же: «мой сдал, мой нет, скоро ли вырастет». Я отвечаю про стенограммы и про то, как дети читают вслух, а потом, когда все расходятся, остаётся кто-нибудь один и спрашивает: «А как с ним говорить-то?» И вот тут я отвечаю неловко, потому что у меня нет готового ответа. Я говорю: «Называйте вещи своими именами». И человек кивает, как

кивают, когда понял не всё, но возражать не собирается, и это неправда, но и опровергнуть меня он не решается.

В марте, когда собирали родителей и обсуждали, кто идёт в кружок рисования, мама одного мальчика сказала: «Он рисует, потому что я заставляю. А сам не хочет». Я хотела спросить: «А вы спрашивали?» — и не спросила. Потому что это был бы вопрос в лоб, и она бы сдулась, и мы бы оба сделали вид, что всё в порядке.

Я не люблю слово «мы». Ну, как. В классе я говорю «мы» постоянно: «мы сейчас будем писать», «мы открываем тетради», «мы слушаем». Это удобно. «Мы» — это я, но не я. Когда ты говоришь «мы», ты ни с кем лично не считаешься. Я говорю «мы», и это значит: решаю я, а отвечают вы.

«Хочу» я в классе почти не говорю. И не потому, что не хочется. А потому, что у учителя «хочу» — это приказ. Хочет учитель, значит всем сразу. Не имею я права сказать «хочу, чтобы вы сидели ровно»: тогда это не желание, а приказ с мягким голосом.

Так вот. Дома я «хочу» тоже не говорила. Года три, наверное. Я даже не замечала.

Муж у меня Серёга. Вместе восемь лет, из них шесть — в одной квартире, на Второй Пятилетке, в доме, где лифт не ходит, а звук подъездной двери слышно за три этажа. Он чинит то, что чинится: розетки, холодильники, однажды — наш шкаф, и до сих пор шкаф открывается рывком.

Он меня целует по расписанию, и расписания на бумаге

нет. В понедельник — целует, когда собирается на работу: это как поставить печать. В субботу — если выпили. В дни рождения и в тот год, когда мы расписывались. А в обычный вторник — нет.

Я начала считать. Когда именно — не знаю. Год назад, наверное. Я заметила, что жду, и стала обижаться на вторники. Это, наверное, смешно. Я учительница, у меня двадцать шесть человек во втором классе, а обида у меня — на вторники.

Дело, кстати, не в поцелуе.

Дело в том, что я в какой-то момент поняла: я хочу, чтобы меня хотели. Вот это слово — «хотели». Его у меня в жизни не было. Тихо, без сцены: меня любят — но не выбирают. Меня ждут — но не зовут. Я это не выясняла в один день. Просто в какой-то вторник, пока мылись посуду, я подумала: «Меня любят, но меня не выбирают», и поставила тарелку не в ту сторону.

И я подумала: почему я молчу?

Я же тринадцатый год учу детей находить слова. Получается, во дворе у меня — ни одного.

Дальше был месяц, который я помню плохо. Я ждала, что придумаю, и ничего не придумывалось. Я думала: «ну я же не могу прийти и сказать: обними меня». Смешно. Или не смешно.

А потом был вечер в конце октября, и Лена.

Лена — учительница физкультуры, мы с ней семь лет в

одной школе, в соседних кабинетах. Лена на две недели уезжала к сестре, а сестра уехала раньше, и Лена вернулась с ключами от её машины и с полными сумками. У неё теперь белый «Каблук», и она на нём возит меня в школу с четверга.

В тот вечер мы сидели в машине на стоянке у школы. На собрание пришли трое: остальные должны были прийти и не пришли, и мы с Леной сидели в машине, пока она разговаривала по телефону с кем-то про ремонт и про то, что в подъезде опять не горят лампочки.

Было темно, десять вечера, в октябре темно уже в четыре. Стекло запотевало с одной стороны, и Лена протирала его рукавом.

— Ольг, — сказала она и повесила трубку, — а ты говорила Серёге, что хочешь?

— Чего? — сказала я.

— Ну как чего. Чего ты хочешь. От него.

И я открыла рот, и закрыла.

Вот это, кстати, тоже вещь. Я тринадцать лет учу детей находить слова, а тут — тишина. Я не знала, что я хочу. Я думала: я хочу побольше его внимания. Но это «хочу побольше внимания» — это не слово, это ощущение. Скажи его вслух — и оно превратится в просьбу, а просьбу могут не выполнить, и тогда ты будешь стоять с протянутой рукой.

— Чего? — сказала я ещё раз, чтобы выиграть время.

— Не знаю, — сказала Лена. — Я в догадках.

И тут я сказала:

— Я хочу, чтобы меня целовали. Просто так. Не в праздник, не за ужин. Когда я хочу.

Тишина.

Лена смотрела вперёд, на фонарь над стоянкой.

Лена выдохнула в сторону стекла, и на стекле появилось круглое пятно, которое тут же растеклось.

— Ну ты заговорила, — сказала она.

И всё. Она не стала спрашивать: «А что он?», «А ты уверена?», «А как ты это сказала?». Она сказала «ну ты заговорила», как говорят «ну ты заговорил», когда человек с утра впервые сказал «спасибо» незнакомому.

Я сидела и смотрела на свои руки на руле. Они были мокрые. Дождя не было. У меня горели щёки, и я подумала: как будто меня застали. Кто? Никто. В машине никого, кроме Лены, и Лена смотрела в лобовое стекло.

— Я, наверное, зря, — сказала я.

— Зря, — согласилась она. — Но сказал же.

— А ему ты сказала? — спросила Лена.

— Нет. Ещё нет.

— Ну и дура, — сказала Лена. — Ты бы сказала в тот же вечер. Я четыре года ждала, пока сама решусь, а потом мой ушёл, потому что его — не ждал.

Я посмотрела на неё.

— Это моё, — сказала она, заметив взгляд. — Я сама. Не бери на себя.

— Твоё, — сказала я.

— Только не тяни, — сказала Лена. — Я серьёзно. У меня потом три года было «потом», а «потом» — это когда уже не хочется.

Она включила радио. Там пели что-то спокойное, и мы поехали по Свердловке, и фонари шли навстречу.

И через минуту я сказала это ещё раз. Тише, и слова были другие. Не «я хочу, чтобы меня целовали», а «я хочу, чтобы меня целовали, когда я этого хочу». Разница, мне кажется, в одном «этого». «Этого» — это про меня. Про то, что я знаю, когда я хочу.

Я вышла из машины и пошла домой пешком. Два автобуса, но пешком я дохожу за сорок минут, а мне надо было думать.

Всю дорогу я проговаривала это про себя, как репетиция.

Тот вечер я Серёге ничего не сказала. Я пришла, повесила пуховик, вымыла руки, выпила чаю и легла. Он спросил: «Ты чего?» Я сказала: «Ничего». И он поверил, потому что я хорошо делаю вид «ничего», это мой профессиональный навык.

Я копила четыре дня. Не в письме — письмо я писала, и не отправила, и оно лежит у меня в телефоне в заметках. Я его когда-нибудь вычищу. Я копила вслух. Дома, одна на кухне, я говорила это предложение и смотрела на своё отражение в чайнике: «Я хочу, чтобы ты меня поцеловал. Сейчас». И каждый раз оно было неприличным — как репетиция перед зеркалом: «А может, поцелуешь меня, барышня?»

А потом он пришёл в четверг, раньше обычного, — с работы звонили, что заказ срочный.

Он вошёл, поставил сумку, снял ботинки. Запахло холодным железом и разогретым герметиком. На шее у него всегда остаётся полоска загара там, где волосы. Он разделся, полез в ванную, оставил дверь открытой, и я слышала, как он там вытирается.

Я стояла у плиты с чайником. Я обернулась и сказала:

— Серёг, я хочу, чтобы ты меня поцеловал.

Он выглянул из ванной с полотенцем на бедрах.

— Что?

— Я хочу, чтобы ты меня поцеловал. Сейчас.

Он смотрел на меня и не целовал. Секунд десять, наверное. Я слышала, как в коридоре капает кран, как на улице подъехал автобус и сбавил у дома, как у соседей сверху зашаркали тапочки.

— Ты серьёзно? — спросил он.

— Ага, — сказала я. — Я серьёзно.

Он стоял и думал. Я видела, как он думает: он сжимает губы и двигает ими вправо-влево, как ребёнок, когда решает, отвечать или не отвечать на вопрос. У Серёги это всегда так. Этот человек чинит электрику за две тысячи и не может сказать «хочу» без подготовки.

— А когда? — спросил он наконец.

— Когда я хочу, — сказала я. — То есть я не знаю. Когда захочу.

— Понял, — сказал он.

И пошёл в ванную. Вода зашумела. Я слышала, как он там вымыл руки — у него всегда были руки в чём-то, в машинном масле или в клее, — и он вернулся. И поцеловал меня. В щёку.

Потом ещё раз в щёку.

Потом мы ужинали. Он сел, я села, он положил ладонь мне на колено, я не отодвинулась. Я жевала и думала: вот, собственно, и всё. Так это и выглядит. Никакого откровения. Ну, мужик целует в щёку, когда ты просишь.

Мне почему-то хотелось, чтобы он в шею. Но это я тогда ещё не знала, что у меня будет свой запрет.

Я ждала последствий. Я не знаю, чего я ждала, но ждала: сцены, раздражения, холода в комнате, вопроса «ты чего такая сегодня». Чего-нибудь, что можно будет разобрать на родительском собрании и на классном часе.

Ничего не было.

Была неделя, в которую он целовал меня по вторникам. По вторникам. Я до сих пор не знаю, почему по вторникам. Наверное, потому что вторник — самый пустой день: в среду он тоже целует, но в среду у нас отчёт и он устаёт, а вторник — просто. Он целует меня по вторникам, и я жду этого, и это ничем не отличается от того, как я жду автобус.

В субботу я спросила:

— А вчера?

— Вчера я был пьяный, — сказал он. — Я не был в со-

стоянии.

— А сегодня?

— Сегодня я трезвый.

И это тоже было про «хочу»: не «ты хочешь, чтобы я целовал», а «я сегодня могу».

На следующей неделе он спросил за ужином:

— Ты серьёзно тогда была?

— Ага.

— Я думал, тебе...

Он не договорил.

— Думал, я стесняюсь? — сказала я.

— Ну да.

И всё. Он не стал уточнять, из-за чего я стесняюсь и с кем. Это его «не уточнять» — единственное, за что я его благодарю. Не за поцелуи. За то, что он не стал уточнять.

На второй неделе он спросил сам. Просто в коридоре, мимо: «Можно?» — «Что можно?» — «Ну, ты же знаешь», — сказал он, и я чуть не уронила пакет с яблоками. — «Что именно можно?» — «Ну, это самое», — сказал он и ушёл в ванную.

Вот что я вам скажу про эту фразу. «Ну, это самое» — это человек, который четырнадцать лет чинит розетки и холодильники, сказал «ну, это самое» и ушёл в ванную. И стоит это тех же десяти секунд, которые он молчал, прежде чем поцеловать меня в щёку.

Он спрашивает и дальше. Не каждый день. Иногда раз в

неделю, иногда раз в месяц, и всегда на ходу, между делом, так, как спрашивают «ты не забыла?». И я отвечаю. И я поняла, что мне не нужно каждый раз отвечать «можно». Иногда я говорю «нет». И тогда он говорит: «Понял» — и идёт мыть посуду. И в этом «понял» нет обиды. В этом «понял» — уважение. Я только потом поняла, что «нет» у меня впервые в жизни не значит «я плохая». Оно значит «сейчас нет».

Дальше — самое главное, и я не знаю, как это объяснить.

Я тринадцать лет учу детей, как надо себя вести. И вот я стою перед классом и понимаю, что три года молчала о самом главном, что у меня есть. Я не молчала потому, что было трудно. Было трудно, да. Но главное — я молчала, потому что молчание было удобно. Пока я молчу, я ничего про себя прошу. А пока ничего не прошу, я ничего не могу получить. Ни плохого, ни хорошего. Только вот это: я не хотела ничего. Я была человеком, который не хочет.

Я стала замечать за собой вещи. Первое: я перестала задерживать дыхание. Я всю жизнь задерживаю — перед собранием, перед уроком, когда муж задаёт вопрос, на который у меня нет ответа. Это не от нервов. Это от школы: нас в классе учили дышать перед ответом, и дыхание задержалось, и стало нормой. Так вот, после того октября оно перестало задерживаться. Само.

Второе: плечи. Я тринадцать лет стою у доски, и к третьему уроку у меня плечи уходят вверх, и я об этом не знаю, пока не посмотрю в зеркало в коридоре. После той недели

они опустились. Я встала перед зеркалом в коридоре, между уроком и звонком, и подумала: «Ну вот, оказывается, оно всё было в плечах».

Третье: я сплю иначе. Не лучше — иначе. Я не просыпаюсь в три, не считаю ипотеку, не ворочаюсь и не проверяю, дышит ли он. Я не говорю, что это всё из-за одной фразы. Может, дело в октябре, может, в свете. Но я стала спать на левом боку, и больше не поджимаю ноги, и по утрам чувствую свои руки, а не то, что их нет.

И четвёртое: я стала медленнее. Я и раньше ходила быстро, и я хожу быстро, но теперь я останавливаюсь на лестнице. На площадке между вторым и третьим этажом я встаю и стою, и это занимает секунд десять. Тело спрашивает: куда ты так несёшься? Я его никогда об этом не спрашивала. Я его вообще ни о чём не спрашивала. В октябре я задала ему один вопрос — и оказалось, что тело тоже ждёт ответа.

А потом я сказала — и оказалось, что дают.

Ну, не «дают». Точнее: тебе говорят «можно», и ты понимаешь, что вчера ты стояла и ждала, а сегодня тебе сказали «можно», и это две разные жизни. И в этой жизни можно ещё.

Я стала говорить «хочу» вслух. В классе. «Хочу, чтобы вы открыли тетради на странице двенадцать». «Хочу, чтобы Тамара Николаевна к нам на урок не заходила». «Хочу, чтобы в коридоре было тихо, потому что я сегодня устала». Оказалось, это удобнее, чем «мы»: «хочу» — это моё, а «мы» —

это ничьё. Я тринадцать лет говорила «мы», потому что не хотела стоять в «я».

Дети, конечно, ничего не заметили. Родители — заметили. Одна мама на собрании в ноябре спросила: «Ольга Петровна, вы как-то по-другому стали говорить?» Я сказала: «Я не заметила». Это была правда и это была неправда.

Почему я так сказала. Потому что я боялась, что меня начнут расспрашивать. А расспрашивать — значит объяснять. А объяснять — значит сказать «хочу» перед залом, в котором тридцать родителей, и ещё сказать, что это самое обычное дело — сказать мужу «хочу». Чтобы это объяснить, надо было бы встать и говорить про своего мужа и про своё тело и про то, чего я от него жду. Это не то, что учительница говорит на собрании.

И есть причина попроще. Когда мама замечает, что ты изменилась, ты не можешь объяснить, что именно изменилось. Ты остаёшься той, кто изменилась. А она была права: я изменилась. Я всё та же учительница, я всё так же говорю «мы», когда мы открываем тетради, но теперь перед «мы» есть пауза — полсекунды, — за которую я проверяю: это «мы» моё или наше? Если не моё — я не говорю.

В классе я «хочу» по-прежнему не говорю. Я говорю «мы». Но теперь я знаю, почему. Раньше — потому что мне было страшно хотеть при двадцати шести свидетелях. Теперь — потому что в классе мы это «мы», это работа. А вне класса я «хочу» говорю. Каждый день. Серёге, когда он при-

ходит с работы и спрашивает «что на ужин», я говорю: «Хочу, чтобы ты сегодня сел и поел со мной, а не у экрана». И он говорит: «Ладно». И садится. И ест со мной. Вот и всё. Работает. И почему это работает, я всё равно не могу объяснить.

А вот что я помню. Октябрь. Мы с Серёгой едем в машине, я говорю, что хочу его целовать, и это получается. И я сижу и понимаю, что я боюсь. Не отказа — я знаю, что он не откажет. Я боюсь, что окажется: я хочу. Что я вот такая. Что я, оказывается, тридцать восемь лет, и мне тридцать восемь, и я хочу, чтобы меня целовали, и это не стыдно, но это факт, и от факта не отвертишься.

Кто я, если я этого хочу? Учительница начальных классов. Второй класс. Двадцать шесть человек, буква «Ж».

И вот это «я хочу» — оно, оказывается, про меня. До этого я была про класс, про детей, про погоду, про что угодно.

Что я не поняла, но теперь знаю: сказать «хочу» — это не значит потребовать. Это значит — сформулировать. А сформулировать можно и то, чего не случится. Я говорю «хочу» и жду ответа. Ждать ответа можно только после того, как сказала. Раньше я тоже ждала, но молча, и это было не ожидание, а обида без адресата.

Я больше не обижаюсь на вторники. Он целует меня по вторникам.

А в конце учебного года мы с детьми делали словарик. Кто какие слова знает. У нас на доске получилось: «МОЖЕТ», «НЕЛЬЗЯ», «ХОЧУ», «НЕ ХОЧУ». Учительница всё это

проверяла, а проверять тут было нечего: глагол.

На листе у детей было сорок «хочу» и тридцать девять «не хочу».

Я поставила плюс. Тридцать девять раз.

Запрет

Дождь шёл с девяти, и к одиннадцати он перешёл в ту фазу, когда с карнизов идёт вода и её слышно с улицы: не шум, а ровный глухой стук, будто сыпят горох в жестяную коробку.

Гриша пришёл без десяти двенадцатого. Мила открыла, и он не сразу вошёл — стоял в проёме мокрый, в жёлтом комбинезоне поверх куртки, с пакетом в руке. Он всегда приходит с пакетом: то апельсины, то хлеб, то свёрток с маслом из «Ашана».

— Проходи, — сказала она.

Он вошёл, поставил пакет на тумбочку, стянул ботинки. Ботинки он всегда ставил вразнобой, и Мила каждый раз ставила их ровно, и он каждый раз на это смотрел и ничего не говорил.

Ключи от подвалов висели у двери на шнурке с двумя бирками. Он их не снимал с кольца с тех пор, как однажды забыл их на работе, и утром двадцать минут стоял под дверью, пока не приехал напарник с запасными.

Он стянул комбинезон, повесил на крючок поверх куртки — и Мила вдруг поняла, что замерла.

Он стоял в коридоре в футболке, и мокрая ткань прилипла к плечам и к спине, и это было видно со спины, откуда она

и смотрела. Он не обернулся, он говорил:

— Апельсинов взял. Они там на развале, у входа, нешто за килограмм.

— Вижу.

Он прошёл в ванную, закрыл дверь, и за дверью зашуршала ткань, потом глухо ударилась о пол мокрая футболка.

Мила осталась стоять. Потом зашла на кухню, включила плиту, достала чайник. Руки делали привычное дело, а голова была занята другим.

Она вспомнила воскресенье. Лифт в доме не работает пятый месяц, и они стояли на площадке второго этажа, и Гриша наклонился к ней, и она почувствовала его дыхание на шее, и он остановился — сам, без всякой договорённости, — и его рука повисла в воздухе на полпути и осталась там.

Дверь соседей открылась. Вышла женщина с пакетом, в розовом халате, и посмотрела на них, и Гриша выпрямился, и женщина ушла, и до её квартиры они больше не разговаривали.

Потом в тот вечер, в машине, Мила сказала: «Не в шею».

И Гриша ответил: «Не в шею». И всё, будто договорились.

Но она тогда не сказала главного. Она не сказала: «Мне это понравилось». Поэтому через минуту она сказала другое:

— И вообще, при других нельзя.

И Гриша сказал: «При других нельзя». И это «нельзя» он произнёс тем самым лицом — серьёзным, официальным, — каким учитель принимает решение на собрании. Мила тогда

подумала, что если бы они были в классе, он бы так и сказал: «Запрещается». И она бы поставила запрещающий знак на доску.

Чайник встал. Мила залила кипятком два чашки — себе с лавровым листом, ему без, — и поставила чайник на подоконник, чтобы остывал.

— Садись, — сказала она.

Гриша сел, и они пили чай, и дождь стучал, и это был обычный вечер, каких у них было много.

— Слушай, — сказал он, — а когда это правило снимается?

Мила поставила чашку.

— Что?

— Ну, ты же не будешь всю жизнь в шею целовать нельзя. Какой смысл в запрете, если его нельзя снять. Это как замок, у которого нет ключа. Его можно открыть — или заменить. Ключ где?

Мила смотрела на него. Он говорил серьёзно, как инженер на совещании: он действительно считал, что у запрета должен быть регламент.

— Ключ — это слово, — сказала она.

— Какое слово?

— «Можно». Кто первый спрашивает — «можно?» — и если второй говорит «можно», то правило на этот раз снято. Всё. Только на этот раз. Дальше опять.

Гриша поднял бровь.

— И всё?

— И всё.

— То есть я спрашиваю «можно?» — и ты говоришь «можно» — и тогда можно в шею?

— Тогда можно в шею.

Он помолчал, и Мила видела, как он улыбнулся — одним уголком рта, быстро, как у человека, который проверил расчёт и нашёл его верным.

— Значит, я могу прямо сейчас спросить?

— Спрашивай.

Он посмотрел на часы. Потом на неё.

— Нет, — сказал он. — Не сейчас. Я мокрый.

Мила засмеялась, и он тоже, и это был тот самый смех, короткий, с выдохом, который в последнее время они оба слышали всё реже.

Она подлила ему чаю. Он держал чашку обеими руками — ладонь у него большая, и чашка в ней выглядит как маленькая игрушка, и Мила подумала: вот за что я его люблю. Не за это. За то, что он держит чашку обеими руками и сидит в чужой кухне, и ему тут неудобно, и он всё равно не уходит, и не смотрит на часы.

— Список, — сказал Гриша.

— Какой список?

— Ну, правила. Давай вслух. Я хочу знать, чего я сегодня не буду делать.

Мила поставила чашку. Это была его манера — он в лю-

бой жизни сначала выяснял границы, а потом уже что-то делал. В аварийке это, наверное, спасало людям жизнь. Здесь — просто его манера.

— Ладно, — сказала она. — Первое. Мы это не называем.

— Не называем что?

— Вот это. То, что мы делаем. Никаких названий. Ни «близость», ни «секс», ни «ты меня хочешь». Ничего.

Гриша поморщился.

— Это самое сложное правило.

— Это самое важное. Когда мы это называем, оно становится вещью. А сейчас — это не предмет. Это то, из-за чего мы оба сюда пришли.

Он кивнул.

— Дальше.

— В шею нельзя. Ясно.

— Ясно, — повторил он, и Мила подумала: «Ясно» — это он про себя записал.

— При других нельзя. Никогда. Не в подъезде, не в машине у дома, не на работе, не в ресторане, нигде. Если кто-то может увидеть или узнать — нельзя.

— Понял.

— И ещё. Вот это, — она подняла левую руку, показала запястье, — трогать нельзя.

Он посмотрел на её запястье. Там белела тонкая полоска — старый шрам, от осколка, ещё в третьем классе, когда она бежала по лестнице и упала на битое стекло у гаражей.

— Тут шрам, — сказал он.

— Тут шрам.

— А нельзя — потому что больно?

— Нет. Не потому что больно. Потому что когда трогают, я перестаю здесь быть. Вот здесь, — она коснулась середины груди, — всё сразу выключается. Как будто кто-то выключает свет. Я не могу это объяснить.

Он смотрел на неё, и Мила видела, как он осторожно отводит взгляд — как отводят от чего-то хрупкого, что лежит на самом краю.

— Понял, — сказал он. — Не трогаю.

— Ты никогда не трогаешь.

— Я никогда не трогаю. И раньше не трогал, — сказал он и добавил тише: — Я думал, тебе это вообще не нравится.

— Мне это вообще не нравится, — согласилась она.

— Тогда ладно.

— И последнее. «Мне больно» — громко нельзя.

Гриша перестал дышать на секунду — она видела, как замерла его грудь, — и Мила поняла, что сейчас будет: а почему? а что случилось? а где? и всё испортится.

— Год назад, — сказала Мила, — ты локтем в рёбра. Ты не заметил, я заметила. Я сказала: «Мне больно». Вслух.

— Я помню, — тихо сказал он.

— Ты вскочил. Включил свет. Стоял передо мной и спрашивал: где, показать, давай в больницу. Минуты три. Ты ходил по комнате и спрашивал, больно ли мне сейчас, больно

ли мне сейчас, больно ли мне сейчас.

Он молчал.

— Я лежала и думала: я сказала «больно», и теперь всё кончилось. Не вечер кончился. Всё.

— Мила...

— Иди домой, сказала она. — Не в смысле расставаться. Иди и ляг, будто ничего не было, потому что я не хочу, чтобы ты уехал. Я хочу, чтобы ты остался. Это, оказывается, разные вещи.

Он поднялся, подошёл, взял её за плечо — не обнял, а взял за плечо, так берут, когда говорят «я тут». И Мила подумала: вот, кстати, он никогда не берёт её за запястье. Никогда. Он берёт за плечо, за спину, за лопатку. Три года — ни разу за левую руку.

— Есть, — сказал он. — Один раз — «довольно». Я останавливаюсь. И молчу.

Мила кивнула. Ей захотелось забрать слова назад, потому что они прозвучали как обвинение, и она видела, как у него между бровями складка, которая не разглаживается. Но слова были правильные, и забрать их назад — значило сделать вид, что год назад ничего не было.

— Извини, — сказала она.

— Не за что, — сказал он. — Я ведь и правда испугался.

Потом они пили чай, и Мила рассказывала про архив — как в четверг привезли коробку из шестьдесят дел, и одно лежало не в том порядке, и два часа они перекладывали всё

по описям, — а Гриша рассказывал, как во вторник прорвало трубу в подвале на Кировке и он до четырёх утра сидел в мокрой шапке, и жильцы выходили с вопросами, и один старик в ночной рубашке и тапках дал ему чаю из термоса.

— Из термоса, — повторила Мила. — В ночной рубашке.

— В ночной рубашке, — подтвердил Гриша. — И в тапках. И чай из термоса, не из чайника. Разница, я тебе скажу, есть.

— Скажи.

— Из термоса — это когда тебе дают. Из чайника — когда ты сам.

Мила допила чай и поставила чашку в раковину.

У него в кармане куртки завибрировал телефон. Он достал его, посмотрел на экран и убрал обратно, не ответив.

— Брат?

— Брат. Пишет: «Позвони, когда сможешь». С четверга.

— Не звонишь?

— Не звоню.

— Почему?

— Он позвонит ещё раз. Он всегда звонит ещё раз, — сказал Гриша, и Мила подумала, что это, наверное, единственное место, где он отступает.

Она встала, прошла в ванную, поставила чайник на электрический, открыла кран. Латунный кран у неё немного подтекает, и она давно собиралась вызвать мастера, но так и не вызвала: привычка.

В зеркале над раковиной — своё лицо при жёлтом неискреннем свете лампы. Она посмотрела и подумала: всё, теперь уже всё.

— Подожди, — сказала она из ванной. — Я зубы почищу.

— У тебя тут есть?

— Есть. Мята, из аптеки на Свердлова. В новой не нравится.

— У меня Sensitive, — сказал Гриша из коридора. — С красной полоской. С 2019-го. Коронка щёлкает на холодное.

— Ты чистишь зубы на холодном?

— Я не знаю, почему я это делаю.

Мила усмехнулась в зеркало — и в зеркале увидела, как улыбка держится на лице, хотя внутри всё уже было собрано и готово, как собирают рюкзак в дорогу.

. . .

Комната у неё была маленькая, с потолком под три метра, окном во двор и тяжёлой шторой тёмно-зелёного цвета, которую она не открывала с лета. Под окном стояла чугунная батарея, и от неё шло жарою, и в комнате пахло старой тканью и лавандой — это был шампунь, который она купила потому, что его стоил двести с лишним и хотелось, чтобы вечер пах дорого.

Часы на стене показывали половину двенадцатого. Они отставали на двадцать пять минут, и Мила всё собиралась их перевести.

Гриша стоял в дверях.

Он всегда так стоял — не входит, пока не позовут, и смотрит куда-нибудь мимо, и Мила знала, что он в этот момент не решается, а даёт себе время. Он был в джинсах и в серой футболке, ещё мокрый от дождя, и волосы у него на висках были тёмные от воды.

— Заходи, — сказала она.

Он вошёл и остановился у окна, спиной к ней, и погладил штору большой ладонью — провёл по ткани, сверху вниз, и отошёл.

— Можно? — спросил он.

Мила поняла: он про слово.

— Можно, — сказала она.

Это было короткое слово, а получилось целая ночь.

Он подошёл. Он всегда подходил сбоку, не прямо, и ладонь у него была большая и тёплая, и он клал её ей на лопатку — не на плечо, на лопатку, на то место, где спина уходит в шею. И Мила каждый раз отстранялась чуть-чуть, ровно настолько, чтобы он почувствовал, и возвращалась, и это был их разговор без слов, который шёл с самого начала.

Ладонь легла. Мила выдохнула — она не заметила, что до этого не дышала.

— Ты мокрый, — сказала она.

— Немного.

— Немного, — повторила она, и он усмехнулся, и она почувствовала эту усмешку ладонью, потому что спина у неё чувствует всё.

Дождь пошёл сильнее. По стеклу пошла крупная дрожь, и звук стал другим — гуще, ближе, будто окно стало больше.

Он сел на край кровати, и кровать скрипнула — старая, с сеткой, и скрип у неё был свой, родной, она по нему считала все их встречи. Мила села рядом, и они сидели, и смотрели в окно, и это было то, что у них было: не разговор, а присутствие.

— Ты знаешь, — сказал Гриша, — я сегодня в подвале смотрел на тумбу, которую сорвал, и там была трещина, и я подумал — вот, трещина, и через неё всё видно, и ничего не течёт. А потом полил, и потекло.

— Ты умеешь рассказывать про подвалы.

— Я много думаю в подвалах.

— Это, наверное, единственное место, где ты не думаешь о работе.

Он засмеялся. Потом повернул голову и посмотрел на неё — прямо, из-за плеча, и она почувствовала, как это смотрение пришло на шею, раньше, чем пришло на кожу.

Он наклонился. Медленно.

Мила почувствовала его дыхание — и поняла, что это именно шея.

Её рука поднялась сама. Ладонь легла ему на плечо и остановила его, мягко, без нажима. Она чувствовала под пальцами его ткань и под тканью — мышцу, тёплую, неподвижную.

— Нельзя, — сказала она.

Он замер. Не отдёрнулся — замер, и остался, и она чув-

ствовала, как он держит себя, и как это трудно, и как он это делает привычно.

— Извини, — сказал он.

— Не извиняйся.

— Я не рассчитывал. Просто ты сегодня…

— Что?

— Что ты сегодня пахнешь мной, — сказал он. — Моим комбинезоном. И я забыл, что у нас есть правило.

Мила сглотнула. Его лицо было совсем близко, и она видела, как дрожит ресница, и это было неприлично много для такой маленькой детали.

Он отстранился. Медленно, как отстраняются от горячего.

— Правило работает, — сказал он.

— Работает, — сказала она, и её голос был ровным, и сама она от этого удивилась.

Он сел, откинулся на спинку, посмотрел в потолок. Мила сидела сбоку, спиной к нему, и чувствовала, как остывает кожа на шее — медленно, пятнами, как отходят краски.

— Хорошо, что ты сказала, — сказал он в потолок.

— Почему?

— Потому что я не знал, что это для тебя — запрет или нет.

— А тебе?

— Мне — запрет, — сказал он. — У меня тоже шрам, только не видно.

Мила повернула голову. Он не смотрел на неё, он смотрел в потолок.

— Расскажи, — сказала она.

— Не сейчас.

— Гриша.

— В подвале, — сказал он, — я вскрыл чужую квартиру. Жилец уехал, а сантехника текла. Я вскрыл, поменял, собрал, ушёл. Два часа в чужой квартире, один на один с чужой жизнью. И там, на холодильнике, у него висел ключ от квартиры, которой он уже не жил. Не от этой. От другой. Он не выбросил. Я его потом долго вспоминал.

Он помолчал.

— Я не помню, что было дальше. Помню ключ. Ключ от квартиры, в которой не жилёшь. Понимаешь?

— Понимаю, — сказала Мила, хотя не понимала до конца. — Почти.

— Вот и я не понимаю, — сказал он. — Но приборку я сдал.

Она положила ладонь ему на затылок — коротко, на волосы, и убрала. Он помнил и не обернулся.

— Ладно, — сказала она. — Поздно уже.

— Ещё не поздно, — сказал он. — У меня в кармане бритва, нож и запасной комплект белья. Я могу уйти.

— Можешь. Только не сейчас.

Он повернулся к ней.

— Тогда можно?

Мила поняла: он спрашивает не про вечер. Он спрашивает про то, что было час назад, про «нельзя» в шею, про то, можно ли это сегодня, если спросить.

Впервые за три года.

— Можно, — сказала она. — Но сначала мы спросим ещё раз. Там, в комнате.

Он кивнул.

Она встала, потянулась, выключила верхний свет и включила настольную лампу у изголовья — ту, с жестяным абажуром, которая светила только на подушку и на край простыни. В комнате стало темно, и дождь стал громче, и стена часов пошла тише.

Он не встал. Он сидел и ждал, и Мила, которая стояла спиной к нему и разгибала спину, вдруг поняла, что он ждёт её — не чтобы она пришла, а чтобы она сказала.

— Гриша, — сказала она в темноте. — Можно?

— Можно, — сказал он.

И это было второе «можно» за вечер, и после него комната перестала быть комнатой.

Он встал. Стоял он близко — она ощутила его раньше, чем увидела: тёплый воздух, запах мокрой шерсти и холодного железа, тот самый, который он приносил с работы и который она любила больше, чем следовало. Потом она увидела его: серую футболку, которую он так и не снял, и её собственные руки, поднятые к нему и остановившиеся на середине пути.

Он положил свои ладони ей на плечи. Не на запястья — на плечи, как всегда, и Мила подумала: «Он и это помнит. Три года помнит».

— Скажи, если что, — сказал он.

— Скажу, — сказала она. — «Довольно».

— Скажешь.

Она кивнула, и он наклонился, и его ладонь легла ей на затылок — тяжело, тёпло, и волосы под ней прижались, и это было первое, от чего она захотела откинуться, но не откинулась.

Он целовал её медленно, и Мила держала ладонь у него на затылке и чувствовала, как волосы у неё на загривке поднимаются от дыхания, и как от этого самого дыхания она слабеет, и как слабость — это не плохо, а другое состояние, в котором человек не держит.

Она вдохнула — рвано, на середине, — и он остановился, и это «остановился» было мгновенным, как остановка лифта.

— Всё? — спросил он.

— Нет, — сказала она. — Продолжай.

— «Продолжай» — это не «довольно»?

— Это не «довольно», — сказала она. — Это другое слово.

Он усмехнулся в её волосы, и Мила почувствовала, как дыхание стало жарче у самого её макушки.

Дальше всё было как в первый раз — только в первый раз

всё было быстро, в темноте, и никто ничего не считал. А сейчас горела лампа, и трезвость означала, что она слышит каждый звук: скрип сетки, когда он сел, шорох футболки, когда он стянул её через голову, и то, как у него стало короче дыхание, и стало слышно, как он держит его, — Мила слышала, что он держит.

Когда его рука легла ей на левое запястье, Мила не вздрогнула — она перехватила его пальцы раньше, чем он успел дойти до шрама, и отвела руку вниз, на простыню, и придержала там. Он не стал спорить. Он не стал спрашивать. Он продолжил, и Мила подумала: вот за это. Вот за это я с тобой три года.

Он дошёл до шеи — раньше, чем она ожидала, потому что в тот раз всё было иначе, быстро, в темноте, а сейчас горела лампа, и абажур отбрасывал круг света на подушку, и всё, что происходило, происходило на виду, в полуметре от этого круга.

Его дыхание коснулось её шеи — там, где волосы кончались.

— Нельзя, — сказала она.

Он остановился. Тот же мгновенный стоп, как в первый раз, — ни секунды промедления, ни обиды, ни вопроса. И остановился, и отстранился, и сел рядом, и Мила слышала, как он сглатывает, и как у него поднимается и опускается плечо.

— Извини, — сказал он.

— Не извиняйся.

Она сказала это, глядя в потолок. Свет от абажура не доставал до потолка, и потолок был тёмный, и в нём ничего не было видно, и это было хорошо.

Он сидел рядом на выпрямленных ногах, и сетка скрипела, и дождь шёл, и Мила подумала: вот сейчас он встанет и уйдёт, потому что так устроены наши правила: он спросил — он получил отказ — он останавливается. Это правильно. Это работает.

И тут она поняла, что хочет, чтобы он не ушёл.

Не вернуться к тому, что было. Не чтобы он вернулся туда, где остановился, — хотя и это тоже. Она хотела, чтобы он поднялся и подошёл, и наклонился, и не остановился.

— Гриша, — сказала она.

Он посмотрел на неё.

— Я сказала «нельзя», — сказала Мила. — А теперь скажи, что можно.

Он молчал. И в этом молчании было всё, чего он не умел говорить: он смотрел на неё и ждал, и ждал не её ответа, а её подтверждения, что он правильно понял, что она не передумала, что «нельзя» было сказано вслух и теперь отменяется, и что ему нужно спросить, потому что иначе он не имеет права.

— Можно? — спросил он.

Мила подняла руку и положила ему на затылок, в волосы, и повела за себя — коротко, вниз, к шее.

— Можно, — сказала она.

Он наклонился.

Губы легли на шею — и Мила, ожидавшая этого, всё равно вздрогнула всем телом, потому что под его губами оказалась та самая полоска — гладкая и чуть выпуклая, старый ожог от утюга. Ей было четыре, она влезла на табуретку и дотянулась до утюга, и мать потом смазывала это сметаной, и от сметаны осталось белое пятно, которое не сошло никогда.

Было больно. Не сильно. Так, как бывает больно, когда трогают синяк, который заживает, — и одновременно было самым близким, что было в её жизни за последние три года.

Она не сказала «нельзя».

Она подумала: вот теперь — нельзя было сказать. И теперь нельзя сказать «можно», потому что сказать «можно» — это значит признать, что было «нельзя», а это правда, но если это так, то она просила.

И она не сказала ни того, ни другого. Она положила обе ладони ему на спину и держала там, а он держал её за бок, и сетка скрипела, и часы на стене показывали половину первого, и дождь шёл, и в углу комнаты тихо капал кран.

Они не торопились. Это было, пожалуй, главное, что изменилось: они не торопились, как торопятся, когда боятся, что будет больно или что кончится, или что кто-то позвонит в дверь.

Она чувствовала его руку на своей спине — там, где лопатки, там, где он всегда кладёт, — и это было единственное

место, где она сейчас была, а остальное молчало.

Потом, много позже, она услышала, как он дышит. Коротко, с хрипотцой на выдохе, и она подумала: «Он же сорок четыре года, и он бегает по подвалам, и у него колено, и он не говорит об этом». И ещё она подумала: «Я сейчас скажу „довольно“ — и он остановится, и всё». И она не сказала.

Она погладила его по спине. Вдоль позвоночника, медленно, как поглаживают, когда говорят «я тут, я тут, я тут».

. . .

Потом была тишина.

Дождь кончился в час. Мила узнала это по звуку: сначала стук смягчился, потом окно перестало работать и осталось тихо, и в этой тишине стал слышен кран, и было слышно, как в доме, этажом ниже, кто-то ходит в носках по полу.

Гриша лежал рядом на спине, одна рука закинута за голову. Мила лежала на боку, и смотрела на его плечо, и на тёмный прямоугольник окна, в котором больше не было дождя.

— Гриша, — сказала она.

— М, — сказал он, не поворачивая головы.

— Ты меня поцеловал в шею.

— Да.

— Я не сказала «нельзя».

— Нет, — сказал он. — Не сказала.

— Почему?

Он подумал. Она видела, как он смотрит в потолок, и как он там что-то прикидывает, и как он привычно считает.

— Потому что я спросил, — сказал он. — А ты сказала «можно».

— Это не одно и то же.

— Нет, — сказал он. — Не одно и то же. Но ты сказала «можно». И потом ты положила мне руку на затылок. И положила обе руки на спину. Ты не могла бы это сделать, если бы было «нельзя».

Мила помолчала.

— А если бы я не сказала «нельзя», но и «можно» не сказала?

— Тогда я бы не тронул тебя, — сказал он. — Я бы ждал.

Она подумала: «И я бы не сказала „можно“. И мы бы сидели до утра, и я бы ненавидела себя за то, что не сказала, и ненавидела его за то, что он слушался».

— Это нечестно, — сказала она. — Ты ждал, потому что я попросила. А не потому, что хотел.

— Мила, — сказал он, — я хотел с первого раза. Я ждал, потому что ты просила.

Она отвернулась к стене. Ей хотелось, чтобы он это сказал не сейчас, а раньше — в машине, в подъезде, когда он остановился у её шеи и убрал руку. Ей хотелось сказать: «Тогда в следующий раз ты спросишь раньше». И ещё ей хотелось сказать: «Тогда в следующий раз я отвечу раньше». И ещё: «Никогда больше не надо будет отвечать так долго».

Она сказала:

— У меня есть ещё одно правило, которого я не говорила.

Он приподнялся на локте.

— Какое?

— Мы это не называем. Помнишь?

— Помню. Не называем.

— Я хочу нарушить его. Один раз. Только чтобы знать, как это — называется. Можно?

Он смотрел на неё несколько секунд.

— Можно, — сказал он.

Мила подумала и не нашла слова. Она знала, что слово есть, оно в языке, она учила детей, как строить предложения из этих слов, — но в уме у неё было пусто, и она лежала рядом с ним, и слушала, как в доме этажом ниже ходят в носках, и не могла вспомнить ни одного слова.

— Потом, — сказала она. — Я вспомню.

— Хорошо, — сказал он.

Он положил ладонь ей на спину — на лопатку, куда всегда — и Мила закрыла глаза.

Внизу, в подъезде, хлопнула дверь. Часы на стене показывали час и двадцать пять, и они отставали на двадцать пять минут, и Мила подумала, что так и не переведёт их, и что это, в общем, тоже неплохо: пусть в доме будет на двадцать пять минут больше.

Его рука лежала у неё на спине, тёплая, тяжёлая, и не двигалась. Мила лежала и слушала, как в доме этажом ниже ходят в носках по полу, и слова, которого не хватало, в голове не нашлось.

Она знала, что оно придёт. Завтра, или через неделю, или на светофоре, когда они будут стоять и смотреть друг на друга.

А пока были часы, которые отставали на двадцать пять минут, и его рука на лопатке.

Зеркало

В прихожей у меня зеркало — из тех, что вешают над полкой для обуви: деревянная рамка, тёмная полоса по краю, там, где краску клали не до конца и не стали счищать. Оно было в квартире, когда я её покупал, и пережило, наверное, прежнего хозяина. Я его не выбирал.

Лампа над ним не работает с осени: вызов мастера я отложил, потому что менять лампочку в прихожей — значит признать, что в прихожей надо что-то видеть. А смотреть там не на что. Полка, два крючка, обувь, ключи. Тело проходит мимо этого зеркала, как мимо любой стены.

При этом зеркало — единственная честная вещь в доме. Оно не льстит, не утешает, не судит: оно показывает. У всего остального в квартире есть намерения: чайник варит, чтобы его выпили, телефон вибрирует, чтобы его прочитали, а зеркалу всё равно. И всё же именно в зеркале я чувствую себя не увиденным, а разобранным: меня не столько смотрят, сколько пересчитывают по частям.

И ещё я заметил случайно. В подъезде у лифта стоял человек и смотрел на себя — поправлял куртку. Я стоял рядом и смотрел не на себя — на того, кто смотрел на себя. На то,

как он поправляет себя: тело тут сродни костюму, который великоват, и его надо подтянуть. Я смотрел, как он чинит себя, и подумал: я поступаю так же. Только чищу дольше и в одиночестве.

Это случилось в марте, в понедельник. Я разговаривал по телефону с Ирой, и она между делом — про погоду, про Светины экзамены — сказала: «Ты, кажется, похудел». Я не ответил, вышел в ванную и встал перед зеркалом. Повернулся боком. Втянул живот.

Слово «похудел» повесило на зеркало весы, и я до сих пор не знаю, кто это сделал — Ира или я. Смотрел я не для того, чтобы увидеть, а чтобы проверить: совпадает ли то, что я вижу, с тем, что она имела в виду. И пока я проверял, лица не было. Был живот, бока, линия плеч, сгиб на шее, и всё это сравнивалось с внутренним образцом, который я ношу в голове и который никогда не покажу. Образец всегда немного моложе, чем я, и всегда выигрывает.

Дальше — то, что я тогда не сразу разглядел.

Слово из чужого рта сделало работу целого механизма. Я встал к зеркалу — и оказался в оценке, причём без сопротивления: был в ванной один, а с зеркалом не спорят. Тело было выставлено на просмотр, и сделали это десять секунд телефонного разговора, в котором ничего важного не было сказано.

Тело, на которое смотрят, перестаёт быть свидетелем. Оно становится выставленным, а свидетель переходит в сторону

— туда, откуда на него смотрят. Я стоял перед зеркалом и не видел ванной: ни раковины, ни пятна на её краю, ни своей расчёски. Я видел живот и сравнивал. Глаза, уши, плечи — всё, что правки не требовало, — выпало из поля зрения. Так выпадает то, на что не нужно смотреть.

В ванной зеркало другое. Там оно рабочее. Я смотрю в него утром, когда надо побриться, и смотрю при этом не на лицо, а на участок: на подбородок, на верхнюю губу, на шею. Лицо в зеркале есть, но я его не вижу — вижу только то, что требует правки. Это похоже на то, как устроен отдел контроля: смотришь не на изделие, а на деталь, которая вылезла за поле.

В феврале 2021-го Марина умерла. Я не помню, в какой день я перестал смотреть на себя: это не было решением, решение требует усилия, а у меня тогда не было ни на что. Однажды утром я побрился, глядя не на себя, а на плитку за затылком — на трещину, шедшую по диагонали, — и обнаружил, что так удобнее. В плитке не было ничего, кроме трещины. Трещина никого не оценивала.

Два с половиной года я не смотрел на себя. Брился я аккуратно, станком, купленным в «Летуаль», — не два с половиной года не брился. Просто видел не лицо, а только те его части, что требовали вмешательства. Так чинят фасад: сначала то, что видно с улицы.

Возвращение началось с автобуса.

Один вечер в ноябре, когда темнеет рано, я сел в автобус

у Балтийской и сел у окна. Внутри горел свет, снаружи было темно, и стекло стало зеркалом. Я смотрел в окно, на фонари, которые ехали навстречу, — и вдруг понял, что фонарей нет. В стекле было моё лицо.

Я смотрел на него секунд двадцать, может, больше. Мне было сорок четыре, я был в рабочей куртке, и на лице была та самая усталость, которую я каждый день видел на чужих лицах в редакции и не узнавал на своём. Я не стал ничего с этим делать. Автобус доехал, я вышел, пошёл домой.

На следующий день я задержался у витрины обувного магазина на углу. В витрине стояли манекены в сапогах, без голов, а поверх них лежало моё отражение. Секунду я не мог понять, чьё это лицо — у манекенов их не было. Потом понял: моё. Я ушёл, не купив ботинок, которых и не собирался покупать.

А в ванной, через две недели, я встал перед зеркалом и в первый раз увидел себя целиком. Там был весь я: плечи, ворот рубашки, родинка у виска, светлая полоса на безымянном пальце. Я смотрел секунд пять, потом выключил воду и ушёл на работу, и на работе в тот день всё было как обычно, и я не перечитывал это утро, пока оно не перечитало меня само.

. . .

Однажды зимой я снял его с крючка и держал в руках: тяжелее, чем я думал, и холоднее, с ровным краем, который режет ладонь. По краю стекло чуть отходило от рамы, и от-

ражение там не совпадало с отражением в середине: у кромки лицо вытягивалось, шея становилась тоньше, подбородок — острее.

Секунду я смотрел на кого-то другого и только потом понял, что это я, снятый с копии. Вокруг отражения не было ничего: ни полки, ни обуви, ни меня самого — только край рамы и испещённое точками стекло.

Часы показывают, сколько сейчас. Зеркало показывает, сколько прошло, и делает это без даты. У меня нет ни одного зеркала, которое хранит моё время: все они хранят время дома.

. . .

Зеркало в зале на первом этаже дома, где наша редакция, — это стена. Оно не отражает комнату, оно отражает зал: беговые дорожки, людей в спортивном, лампы в ряд. И оно показывает не человека, а сравнение: рядом всегда кто-то, и зеркало измеряет — у кого больше, у кого ровнее, у кого меньше второй подбородок. Мужик сорока с чем-то поправляет рукой волосы — причёска якобы могла сбиться от усилия. Другой, помоложе, стоит у стены и приподнимает своё плечо, будто пробует его на вес.

Я стоял у бруса и делал то же самое. Я смотрел на свой живот, который за год не стал ниже, на ключицы в вырезке футболки, на вену на предплечье, которая то выступает, то нет в зависимости от того, как я держу руку. Я смотрел на себя так, как смотрят на чужую мебель при приёмке: есть ли

перекос, нет ли скола, всё ли на месте. Оценка, которой не занимаются, всё равно занимает место: она делается тихо и в стороне, и человек в ней — тот, кто смотрит, а не тот, на кого смотрят.

В зале зеркало работает иначе, чем в ванной. В ванной оно показывает меня и ни с чем не сравнивает. В зале — показывает относительно. Разница между этими работами такая же, как между «посмотреть на платье, которое я сшил» и «посмотреть на платье, которое продают в витрине». В первом случае смотришь на вещь. Во втором — на оценку, которую вещь получила от других.

. . .

Теперь про примерочную. Тяжёлым это место выходит из-за тройного ракурса.

В магазине на углу зимой работали две кабины: три зеркала, скошенные так, что сходятся, и лампа под потолком, которая светила вниз и не собиралась никого жалеть. Свет был белый, ровный, и в нём исчезало всё, что обычно прячет. Я стоял в куртке, которую принёс из зала, и смотрел на себя с трёх сторон сразу, и ни одна из сторон мне не нравилась.

Я увидел, какие у меня плечи. Что живот не плоский, а мягкий, и это другое, чем полный, и от этого не легче. Что я стою весом на одной ноге и держу руки слишком близко к телу, как человек, который ждёт, что его спросят, зачем он пришёл.

Я снял куртку. Снимать не следовало. Но сняв, я увидел

себя всего — не по частям, а целиком, со спиной, с боками, с тем, как разошлись лопатки, с тем, как лежит складка на животе, когда я выдыхаю. И увиденное не было плохим. Оно было непривычным. Разницу между «плохим» и «непривычным» я тогда не понял, потому что торопился.

В кабинке было жарко, и жар этот был не от лампы, а от того, что за стенкой кто-то дышал. Кабинка держалась на деревянной перекладине, и от её шата я почувствовал, как качнулось зеркало — все три сразу, на миллиметр, и картинка сдвинулась и вернулась. Дверь не закрывалась: вместо неё была шторка, а за шторкой стояла продавщица и ждала. Она не заглядывала — я слышал, как она переступает с ноги на ногу и как капает на пол её капля от чашки. Я знал, что она там, и знал, что через минуту спросит «ну как?», и от этого знания всё в кабинке стало чуть меньше: и плечи, и живот, и лампа.

Она спросила. Я сказал: «Нормально». Она сказала: «Ну вот». И я вышел, и по дороге к кассе понял, что «нормально» было сказано ею, а «вот» — мной, и что эти два слова разошлись по разным адресам.

Я купил куртку по размеру — единственное, что в примерочной можно проверить, — и вышел в зал, где пахло шерстью и подпятками, и где зеркала стояли по стенам, как в коридоре у стоматолога, и каждое показывало чужое лицо сбоку, вывернутое, неправильное.

. . .

За пределами магазина зеркала другие, и в них всегда есть кто-то третий.

Витрина аптеки на углу — стекло в два слоя, за ним кресты и плакаты, а на стекле разводы от швабры и следы от капель. В ней отражается улица, а поверх улицы я, и лицо у меня прозрачное: сквозь него видно ценник на упаковке. В аптеке пахнет йодом и бумагой, и меня там показывают не покупателем, а прохожим, который задержался у витрины.

Стеклянная дверь кафе даёт другую картину. Толщина стекла и угол, под которым она стоит, сдвигают отражение: в нём я иду рядом с собой и отстаю на полшага. Свой лоб, свои плечи — только человек в отражении идёт чуть позади.

И вот разницу, которую я раньше не формулировал. В зеркале можно смотреть на себя, а можно — за собой: идти за отражением и проверять, не мешает ли оно. В прихожей я делал именно это — проверял, всё ли на месте.

И тело отвечает раньше, чем я успеваю подумать. Шаг укорачивается, дыхание уходит в грудь, ладони прижимаются к бёдрам, подбородок идёт вверх — я не решаю этого, я обнаруживаю, стоя сжатый, когда встречаю себя в чужом отражении. В ванной, в марте, я втягивал живот по команде; здесь меня сжимает никто.

В стеклянной двери отставание в полшага не мешает дойти до конца улицы. Я заметил это не сразу — сначала увидел свои плечи в стекле и удивился, что они идут отдельно от меня.

. . .

С телефоном всё сложнее, потому что телефон — это зеркало с памятью.

Фронтальная камера даёт картинку без зеркального переворота: правая рука в кадре справа. Мозг ждёт зеркала и не находит его. Мой отец, увидев такую фотографию, сказал: «А что, теперь у тебя всё наоборот?» Ему было семьдесят три, он говорил о погоде и технике, и в этой фразе не было ни насмешки, ни удивления — он отметил, что перестал разбираться.

Селфи в телефоне — главный зеркальный ритуал наших дней, и я в нём соучастник, хотя посты не делаю. Я снимаю себя, когда надо проверить, как выглядел: после встречи, после дороги, после долгой работы над чужой рукописью. Снимок нужен не другим — он нужен мне, чтобы глянуть на себя со стороны, не тратя на это лишнего времени. Потом я их удаляю. В альбоме их несколько сотен, и я знаю, что если кто-то их увидит, то увидит человека, который много раз себя проверял.

Но главное в этом ритуале другое. Телефон — зеркало, у которого есть заключение и подпись. Обычное зеркало показывает всё; экран показывает и умеет оценивать: он знает, что угол снизу добавляет два килограмма, что волосы надо убрать со лба, иначе будет «грустно». Я не знаю, кто и когда это всё придумал, но выполняю без сопротивления: поднимаю телефон выше, наклоняю голову, убираю волосы, про-

веряю. Это не техника, это привычка. Телефон даёт то, чего не даёт зеркало в прихожей: посмотреть на себя и получить за это отметку.

Ещё одна деталь: рука на вытянутом расстоянии. Тело развёрнуто к прибору, а не к человеку напротив, — значит, селфи это зеркало, в котором человек одновременно смотрит на себя и позирует перед тем, что его смотрит. Две работы для одного глаза.

Социолог Чарльз Кули в начале прошлого века описал «зеркальное я»: человек, говорил он, устроен не из того, что он есть, а из того, что, по его мнению, о нём думают. Я прочёл об этом в учебнике и подумал тогда, что у меня всё наоборот: зеркало было, а зрителя не было, и от этого я был один.

. . .

Осенью я записался в бассейн на Балтийской. Я давно это собирался и в тот год собрался: коллеги из отдела ходили по четвергам, я думал, что присоединюсь. Я присоединился в среду, один, и никому об этом не говорил, потому что объяснять зачем не хотел, а «заниматься плаванием по четвергам» — плохое объяснение, в котором ничего не сказано.

Раздевалка в шесть сорок — место, где от тела остаётся меньше всего. Толпы ещё нет, сравнивать не с кем. Зеркало над раковиной маленькое, в металлической раме, с липкой полкой для мыла и жёлтым пятном от неизвестного средства. Лампы моргают: одна из двух, с какой-то своей частотой, и в этом мигании лицо то резкое, то тусклое, так что удержать

взгляд было невозможно. Хлорка в ноздрях, мокрый кафель под ногами, звук воды в трубах — такой низкий, что его скорее слышно корпусом, чем ушами.

Я встал к этому зеркалу и увидел тело, которое ещё никто не видел в этот день. Ни коллеги, ни случайного человека, ни зеркала в зале. Плечи ещё не застыли от холода, живот был мягкий и не подтянутый, ключицы видны, и волосы на висках поредели — но это я уже знал. Новое было другое: это было тело, до которого ещё никто не добрался. Оно не было моим и не было чужим. Оно и было — и от этого в раздевалке пахло хлоркой, и капала вода, и лампа мигала.

И вот в этой раздевалке я, кажется, впервые увидел разницу между нарциссизмом и присутствием. Не в том, что человек на себя смотрит, а в том, что он оттуда ждёт. Один смотрит и ждёт подтверждения: отражения, одобрения, того, чтобы тело оказалось удачным, подходящим, чтобы его можно было показать. Другой смотрит и не ждёт ничего, и потому может смотреть долго и скучно, не отводя глаз, — как смотрят на вещь, которая лежит на месте и никуда не торопится.

Я два с половиной года разговаривал с зеркалом и не понимал, что разговариваю. Мне казалось, я смотрю. На самом деле я ждал, что оно скажет что-нибудь приятное, — и оно никогда этого не говорило, и поэтому я уходил.

. . .

Как это устроено, я понимаю лучше на чужом материале, потому что это моя работа: двадцать лет я правлю тексты —

про садоводство, реже про городскую историю, иногда про то, как устроен старый дом. Правка требует двух разных глаз.

Первый глаз ищет ошибку. Он идёт по строке ровно, сверху вниз, как по лестнице, и замечает опечатку, сбитый ритм, запятую, которая ничего не держит. Он молчаливый, быстрый, ничего не любит и ни за что не благодарит. Второй глаз слушает. Он ложится в строку и ждёт, пока фраза дойдёт до конца; он слышит, где автор торопится, где ему не хватает слов. Он медленный, снисходительный, и часто сначала слышит, а уже потом замечает.

Один глаз не может делать обе работы. Тот, который ищет, всегда оглядывается: он не слушает, он проверяет. Тот, который слушает, ничего не ищет — и потому слышит всё, включая то, что не следовало слышать.

С телом вышло хуже. Я это время читал себя на ошибки — и не слышал. Я проверял: выспался ли, правильна ли причёска, не вырос ли второй подбородок. Проверка живёт не в голове, а в шее: шея поднимается, подбородок идёт вверх, дыхание задерживается на два счёта, лицо собирается в выражение. Я видел это у людей в приёмной, когда они заполняют анкету, и думал тогда — а как же выражение лица? Оно собирается само, когда вы читаете себя.

Оценка требует расстояния. Чтобы оценить, надо отойти от тела хотя бы на полшага: встать в сторону, в профиль, спиной к свету или лицом. Но чтобы не оценивать, расстояние должно закрыться совсем: человек перестаёт быть объектом,

на который смотрят, и становится тем, кто смотрит.

Поле зрения у человека одно. Глаз один, и в одну секунду он либо здесь, либо там. Можно смотреть на тело как на объект — и тогда ты снаружи, ты же оценщик, судья, тот, кто сравнивает с образцом. А можно смотреть на тело как на себя — и тогда ты внутри, и никакого сравнения не возникает, потому что сравнивать не с чем и незачем.

. . .

Есть ещё одно зеркало, которого я два с половиной года не замечал. Оно не висит на стене, его нет в квартире — оно в чужих глазах.

В редакции это происходит постоянно и незаметно. Вадим заходит с рукописью, смотрит поверх очков, задерживается на секунду дольше, чем нужно для дела, — и это означает, что он что-то прочитал в моём лице. Я не знаю что. Он мне ничего не скажет, если спросить: он скажет «да нет, всё нормально», и это будет правдой ровно настолько, насколько вообще бывает правдой в редакции.

Чужой взгляд работает тем же инструментом, что и мой собственный. Человек заходит и сверяет — со своим образцом. У каждого в голове живёт представление о том, как должен выглядеть уставший редактор, как выглядит человек, которому нездоровится, как пахнет офис в четыре часа дня, когда все устали и никто этого не признаёт. И человек сверяет с этим, и за две секунды узнаёт о тебе больше, чем ты сказал за десять минут.

Разница одна, и она в мою пользу. Своё отражение я вижу целиком и знаю, что именно в него смотрю; чужое лицо мне достаётся кусками: вот обруч от очков, вот как он держит рукопись двумя пальцами, вот что у него с шеей. Я вижу следы чужого сравнения, но не вижу образца, с которым сравнивают, — а значит, не знаю, насколько проиграл. Чужой взгляд всегда кажется мне точнее собственного, и это не потому, что он проницательнее. Это потому, что у него нет моего мусора в голове.

И вот главное. Пока на тебя смотрят, ты не можешь быть тем, кто смотрит. Место зрителя и место того, кто видит, — одно и то же место, а оно занято. Тело перестаёт быть тем, что видит, и становится тем, что видят. Это не метафора: в разговоре с человеком, который на меня смотрит, я перестаю видеть комнату, свет, его руки на столе — и остаюсь только с лицом, с голосом, с оценкой, которую он, по-видимому, выносит.

. . .

Почему два с половиной года не смотреть — я тогда это не формулировал и сейчас формулирую с осторожностью. Но дело было не в том, что тяжело. Дело было в том, что невыносимо, и невыносимо было не то, что там есть, а то, кого там нет. В зеркале должен был появиться человек, которого она знала, — и рядом с ним тот, кто продолжает. Эти двое не помещались в одно отражение. Я выбрал второго, а это значит — отказался смотреть вовсе.

Тело, из которого ушёл свидетель, — это не тело, которое разучилось смотреть. Это тело, которое отказалось свидетельствовать.

И вот что я понял, когда вернулся: я всё это время не отсутствовал. Я был здесь, я слышал воду в трубе и скрип половицы и запах ванной, я ел, ходил на работу, ворочался. Я не выключался. Я только выставил себя на просмотр — не дому, не людям, а себе, и делал это с выражением человека, который стоит в очереди на приём.

Тело не умеет отсутствовать. Оно умеет только не смотреть. И в этом, наверное, весь ответ на вопрос, с которого я начал: вернуться к себе — значит перестать себя оценивать.

. . .

Что это значит на практике, я не знаю. Никто меня этому не учил, и в словарях этого нет; я, к слову, редактор, словари перечитываю. Может, его и нельзя выучить, а можно только не мешать. Смотреть на себя в зеркало — занятие выгодное: оно всегда даёт оценку, а оценка всегда даёт работу. Присутствие работы не даёт. В нём нет ничего, кроме себя, и это плохо продаётся.

Я знаю только одно. Когда я в первый раз увидел себя целиком, я не почувствовал облегчения. Я почувствовал себя скучным. Реакция была честная, и она понравилась мне больше, чем любая другая: облегчение было бы оценкой, а скука — это когда оценки нет и места для неё больше не осталось.

. . .

В октябре я всё-таки вызвал мастера и починил лампу в прихожей. Лампа старая, сорок ватт, жёлтый свет; лица в нём не видно — только общий тон, волосы, тени, складки. Я стоял перед зеркалом и не проверял ничего. Я смотрел.

Тело было на месте, лицо было на месте, и ничто не требовало, чтобы я что-то с этим делал. Я видел, что волосы на висках поредели, что ключицы видны, что полоса на безымянном пальце светлая и тонкая, и кожа на ней другая. Так остаётся от обручального кольца: я носил его пять лет, с 2011-го по 2016-й, потом не носил ничего. У матери на безымянном пальце было кольцо, и когда её не стало, кольцо сняли, и осталась полоса. Полоса — это зеркало, которое всегда при мне: оно показывает, что было, и ничего не оценивает.

Я постоял, сколько смог. Потом вышел на работу и опоздал на автобус. Раздражение было привычным и уместилось в голове без остатка: в тот день я ни о чём не думал. Ни о себе, ни о зеркале. Я просто доехал, поднялся, открыл папку с чужой рукописью про старые огороды и прошёл первую страницу.

В ноябре я вернулся в бассейн на Балтийской. Теперь я хожу туда по четвергам, с теми же людьми из отдела, и это отдельная тема, о которой я писать не буду. Я пишу о другом: в тот первый раз, в шесть сорок утра, я стоял в раздевалке перед маленьким зеркалом над раковиной и видел тело, до которого ещё никто не добрался, и это было единственное,

что меня тогда удержало. Я не удержал. У дорожки, через десять минут, я уже смотрел в телефон и выбирал, кто из тех, кого я видел, выглядит хуже всех. Никто из них об этом не знал, и я ничего не знал об их лицах, — я знал только, что у меня есть с чем их сравнить.

В тот вечер, в бассейне, я встал к тому же зеркалу и не стал выбирать. Тело было то же, порядок тот же, только вода в трубах по-прежнему гудела низко и лампа по-прежнему мигала. Разница была не в том, что я увидел, а в том, что мне было не с чем сравнивать.

Я не стал выглядеть лучше. Я стал виден — и в этом, кажется, разница, хотя объяснить её я не берусь. Разница не в зеркале. Разница в том, что в следующий раз я приду сюда не проверять, а просто мыть руки. Лампа мигала, вода в трубах гудела низко, и я ушёл, не посмотрев в зеркало ни разу.

Тишина

Ножка стола качалась три года. Варя привыкла к этому раньше, чем к тишине: за завтраком стакан с молоком сдвигался к краю, и она ловила его на лету, не глядя.

Олег подтянул шкант отвёрткой, нажимая ладонью сверху, и стол перестал качаться.

— Готово, — сказал он.

— Он не качается, — сказала Варя.

— Нет, — согласился он. — Уже нет.

Он убрал отвёртку в подсумок, стряхнул с ладони опилки, и они упали на серый коврик, купленный вместе с кварти-

рой. На коврике была первая за год пыль.

Варя поставила ладонь на столешницу и подождала. Стол не качался. Она сдвинула столешницу чуть вправо и снова подождала.

— Держится, — сказала она.

Олег кивнул и начал собирать инструмент. Это заняло у него больше времени, чем сама починка: он перекладывал биты, проверял их пальцами, ставил в ряд, и видно было, что ему жалко расставаться с порядком.

В кухне, которая была углом комнаты, отгороженным столом, пахло сыростью и остывшим чаем. На плите стоял электрический чайник, рядом — жестяная банка с растворимым кофе и стопка чашек: три, из них одна была со сколом. Окно выходило во двор, и тюлевую занавеску слегка поддувало.

— Чай будете? — спросила Варя.

Олег посмотрел на неё. Он смотрел так, как смотрят на инструмент, который никак не поддаётся, — коротко и оценивающе, и отвёл глаза.

— Пойду, — сказал он.

— Чай, — повторила она. — Уже залит.

Олег посмотрел на чайник, на чашки, на её руки.

— Ладно, — сказал он.

Она налила. Чай вышел крепким, она не умела делать слабее. Он отпил, проглотил, и она увидела, как дёрнулся кадык. Ничего не сказал. Он поставил чашку на стол и погладил столешницу там, где шуруп утопил, коротко, двумя

пальцами, как проверяют, не шатается ли.

— Тут ещё, — он показал на угол, — крепление слабее. Тоже подтянуть?

— А можно без меня?

Он посмотрел на неё и не ответил сразу. Между его «можно» и его ответом прошла пауза, и в этой паузе было слышно, как он проглатывает.

— Можно, — сказал он. — Я подтяну, если вы не против.

— Не против, — сказала Варя.

Она села. Он сел на стул, который стоял напротив и который она никогда не вытаскивала: он был гостиный, и гостей у неё не было с тех пор, как она переехала. Стол между ними был шестьдесят сантиметров, и это расстояние они оба почему-то измеряли.

Олег сел ровно, спиной к стене, и положил руки на колени. Под его ногтями виднелась тёмная полоска. Он заметил, что она смотрит, и опустил руки ниже, под край столешницы.

Внизу хлопнула подъездная дверь. Потом кто-то поднялся по лестнице — шаги были не ровные, через шаг, — и в квартире стало тихо.

— Дверь не заперта? — спросил Олег.

— Не заперта, — сказала Варя. — Я не запираю.

Он кивнул и отпил чаю. Она смотрела на его руки: они лежали неподвижно, но она видела, как дрогнул мускул на предплечье, когда он поставил чашку.

На столе он оставил квитанцию, а на обороте — телефон,

написанный от руки, крупно, со всех сторон зачёркнутых лишние цифры.

. . .

Он пришёл через неделю. Ручка окна заедала: Варя позвонила в аварийную службу, те вызвали мастерскую, и приехал тот же Олег.

— Дверь открыта, — сказала она вместо «здравствуйте».

Олег вошёл, разулся у порога — носки поставил ровно, пятками к стене, — и пошёл к окну. Куртку не снял.

— Стекло я открывать не буду, — сказал он. — Только ручку.

Варя кивнула. Она стояла у стола и не знала, куда деть руки, и в конце концов облокотилась о столешницу, прижав к груди левую ладонь. Она не заметила этого. Зато Олег заметил — и перевёл взгляд на раму окна.

Ручка он отремонтировал быстро, минут за десять, и всё это время в комнате было слышно, как он работает: тихо, ровно, с короткими выдохами на каждом усилии. Раз — и стук; раз — и стук. Ровно, как метроном.

— Спасибо, — сказала Варя.

Олег закрыл окно, проверил ручку ещё раз, открыл и закрыл, потом стянул перчатки.

— Пойду, — сказал он.

Варя налила чаю. Поставила на стол. Он посмотрел на чашку, потом на неё.

— Спасибо, — сказал Олег. — Я пойду.

Он стоял, и она видела, что он не собирается садиться: тело у него было развёрнуто к двери, а плечи подняты, и дышал он ровно, как дышат, когда сверлят. Правая рука сжимала подсумок с инструментом.

— Можно, я спрошу? — сказала Варя.

Олег посмотрел на неё и ждал.

— Вы приходите чинить, — сказала Варя, — а я даже не знаю, как вас зовут. Олег. — Она сглотнула. Палец у неё лёг на губу и сразу соскользнул. — Вы из мастерской, которая по объявлению?

— Из мастерской, — сказал он. — Я сам. Объявление — моё.

Он ушёл быстро. В подъезде его шаги стали тише, потом затихли. Варя подошла к двери и оставила её открытой, как была.

. . .

Она позвонила ему сама, через четыре дня. Сказала, что ручка окна стала скрипеть. Он приехал в тот же вечер, в девять, когда уже темно.

— Я ненадолго, — сказал он у порога.

— Я чай поставлю, — сказала Варя.

Она мыла посуду, когда он вошёл на кухню, и это была теснота: между раковиной и столом помещалось полшага. Она развернулась, и он оказался за ней, близко, и запах его куртки — дубовая стружка и холодный воздух — донёсся раньше, чем он сам.

Она замедлила дыхание. Это было её обычное: когда нужно было не двигаться, она дышала медленно, и ладонь прижималась к груди, и тело замирало, как замерзает вода в трубе.

Олег взял с тумбочки тряпку — узкую, серую, уже пожелтевшую по краям. Их пальцы соприкоснулись на тряпке. Он отдёрнул руку, проглотил и отвернулся к раковине.

— Я подмою, — сказал он.

— Не надо, — сказала Варя. — Я домываю.

— Тогда я подожду.

Он ждал. Он стоял в двух шагах, и Варя видела, как он смотрит в стену, на выключатель, на свои руки, и что он дышит медленно и ровно, и что усилие этого дыхания видно по плечам: они не опускались.

Она вытерла последнюю тарелку, повесила фартук и повернулась к нему.

— Олег, — сказала она.

Он поднял голову.

— Мне всё время кажется, что я что-то делаю не так, — сказала Варя. — Что зову не туда, или говорю не то, или молчу не вовремя. И я не понимаю, как перестать.

Олег молчал. Секунда, две, три.

— Я не знаю, — сказал он. — Я тоже не знаю, как перестать.

Он сказал это тихо, глядя ей в плечо, и Варя поняла, что он ответил не на вопрос, а на свой.

Потом он повернулся, надел перчатки, и его пальцы стали работать: он проверял ручку, закручивал, проверял, откручивал, закручивал — ровно, с тем же выдохом на усилии. Работа шла сама, а тело было занято, и это, кажется, было единственное, что его спасало.

— Всё, — сказал он. — Не скрипит.

— Спасибо.

Он снял перчатки, повесил их на крючок, который висел в прихожей, и посмотрел на них, висящими. Потом на свои руки.

— Мне пора, — сказал он.

— Олег.

Он остановился в коридоре, спиной к ней. Ладонь лежала у него на груди, прижатая к ткани рубашки, — он сам не заметил, когда её туда положил. Он так и не повернулся. Дверь он закрыл, но тихо, не щёлкнув, а придержав рукой, и Варя слышала, как он спускается по лестнице, и слышала, как внизу хлопнула подъездная дверь.

. . .

Он пришёл в следующий понедельник, и Варя уже не удивлялась, что он приходит по понедельникам.

В тот вечер он чинил ей стул — тот самый, гостиный, который она никогда не вытаскивала, потому что он шатался, и она не хотела знать почему. Олег перетянул стул, разобрал, посмотрел на перекос, сказал «тут дерево повело» и ушёл в комнату за инструментом.

Варя налила чай и поставила его не на стол, а на подоконник, у окна, — ей показалось, что так он будет ближе к ней, если ему понадобится.

Он вернулся, сел, попробовал стул и не встал. Они сидели, и разговор шёл сам собой, как вода по ступеням, — неровно, с остановками.

— Я работаю в библиотеке, — сказала Варя. — Выдаю книги. Много. Один человек за год берёт двадцать раз.

— Угу.

— Я выдаю книги. Много. Один человек за год берёт двадцать раз.

— Угу, — сказал Олег и улыбнулся. У него улыбка была короткая, больше глазами.

— А вы? — спросила она.

— Столярка. Столы, полки, лестницы. Иногда двери.

— Двери, — повторила она.

— Не те, что вы думаете, — сказал он. — Межкомнатные.

Он отпил чаю, и она увидела, как он проглотил, и как на секунду дрогнула нижняя губа. Он поймал её взгляд и отвернулся к окну, где во дворе горел фонарь и на мокром асфальте жёлтая полоса света лежала криво.

— У меня комната шесть шагов в длину, — сказал он вдруг. — В коммуналке. Кладовка, из которой сделали комнату. Стол отодвинул, сплю на диване.

— И вам нравится?

Он помолчал.

— Я привык, что рядом всегда кто-то. Всегда. За стеной кто-то дышит, кто-то ходит, кто-то греет чайник. И я не знаю, как это выключить. — Он посмотрел на свои руки. — Когда ко мне приходят, я начинаю что-то делать. Мне нужно, чтобы было занятие. Иначе я не знаю, куда деть руки.

Варя подняла на него глаза. Он смотрел в чашку.

— У меня, — сказала она, — по-другому. Я, когда не знаю, что сказать, начинаю говорить тише. И ещё прижимаю ладонь вот сюда, — она показала на грудь, — и дышу медленно. Мне кажется, я так делаю с детства: сначала дыхание, потом слова.

Олег смотрел на её руку и не отводил глаз. Потом медленно перевёл их на чашку.

— Это, наверное, одно и то же, — сказал он.

Чай остыл, и Варя подлила кипятка из термоса, который стоял на полу у батареи. Олег помогал, молча. Он сидел на краю дивана, она — на стуле напротив, и между ними было полметра, и эти полметра она чувствовала кожей, как чувствуют сквозняк.

Она сказала что-то смешное — про библиотекаря, который воровал фантики из «Советского спорта», — и Олег фыркнул.

— А, — сказал он.

— Что?

— Ничего. Вы смешно рассказываете.

Варя засмеялась. Звук в комнате получился неожиданно

громким, она сама его испугалась и закрыла рот ладонью.

Олег смотрел на неё. Он не отвёл глаз, и в этом было впервые. Он смотрел на неё, и дышал, и дыхание у него сбилось — коротко, на вдохе, — и он сглотнул, и это было видно.

Он поставил чашку. Точно, туда же, где она стояла в прошлый раз. Потом отвернул голову.

— Я, — сказал он и остановился.

Между «я» и тем, что он хотел сказать, была пауза, и Варя слышала её целиком: пауза была не пустая, в ней стояло что-то тяжёлое.

— Ничего, — сказал Олег.

Он встал. Двинулся к двери — быстро, не оглядываясь, и шёл так, как ходят нарочно быстро, чтобы не успеть передумать.

— Олег, — сказала Варя.

Он остановился в коридоре. Он надел ботинки — один шнурок был завязан, второй ещё лежал на полу, — и стоял, глядя на дверь.

Варя встала. Она могла спросить. У неё даже была готовая фраза, и она знала, что эта фраза всё испортит: «Что не так?», «Что я сделала не так?», «Олег, ну скажите».

Она её не сказала.

Она пошла на кухню. Повернула газ. Щёлкнуло, зашипело, и через несколько секунд запах газа дошёл до коридора. Она поставила чайник, достала две чашки — вторую, без скола, — и подождала, пока вода начнёт шуметь.

Дверь в коридоре она не закрыла. Свет из прихожей падал на кухню, и в этом свете она видела его: он стоял там, в одной рубашке, с одним завязанным шнурком, и не делал шага к двери.

Чайник закипел и щёлкнул, выключился сам. Она налила. Горячий чай ударил в нос, и она подумала, что налить надо было сразу, раньше, — но теперь было поздно, и она поставила чашку на край стола, там, где было видно из коридора.

Вода в чайнике остывала. Она слышала, как за стеной у соседки работал телевизор, как где-то в доме хлопнула дверь, и как дышал человек в коридоре — ровно, но часто, чаще, чем у того, кто спит.

Она села и не стала пить. Она смотрела на стол, и на столе стояла его чашка, и от неё шёл пар, и она видела, как пар оседал на столешнице и пропадал.

Прошло, наверное, минут пять. Она не смотрела на часы, она слышала их: настенные, с секундной стрелкой, которая шла через весь циферблат с обычным своим тиканьем, и в этом тиканье всё, что происходило в коридоре, становилось слышнее.

Потом шаги. Медленные, вязкие. Он вошёл на кухню, остановился у стола и сел напротив.

Он не сказал: «Я остался». Он не сказал: «Прости». Он обхватил чашку обеими руками, и руки у него были холодные, он их согревал о фарфор, и от этого по столешнице прошла едва заметная дрожь.

Варя не подняла на него глаз. Она смотрела в свою чашку. И в этом было что-то, чего она не ожидала: пока она не смотрела на него, он дышал. Ровно, глубоко, и всё это время в комнате было тихо, и в этой тишине было слышно, как он приходит в себя.

Он отпил. Обхватил чашку крепче.

— Вкусно, — сказал он.

— Крепко, — сказала Варя.

Он посмотрел на неё.

— Да, — сказал он. — Крепко.

Они сидели. Он держал чашку обеими руками, и она видела, как белеют костяшки, и как по краю губы у него блестит влага, и как он держит эту влагу, чтобы не сглотнуть, потому что сглотнуть — значит признать, что он устал держать.

Он поставил чашку.

— Я не умею, — сказал он, — когда близко. Я всё это время сидел и думал, как уйти. Мне не от вас. Мне от того, что я не знаю, что с этим делать.

Варя смотрела на свои руки. Правая лежала на столе, рядом с его левой, и между ними было сантиметра три.

— А я, — сказала она, — не умею, когда тихо. Мне в тишине слышнее, чем в словах. Я всё это время слышала, как вы дышите.

Олег посмотрел на стол. Потом на неё. Он поднял правую руку и положил её на столешницу ладонью вверх, раскрытой. Не протянул — положил. Ладонь лежала, и на ней были мо-

золи, и тонкая полоска краски от железа в сгибе большого пальца.

Варя смотрела на эту ладонь. Она положила свою рядом, и они не соприкоснулись: между их руками осталась щель, и в этой щели было всё, что они ещё не сказали.

Потом она сдвинула руку ещё на палец. И ещё.

Их пальцы соприкоснулись — у неё подушечкой, у него боковой стороной, — и он дёрнулся, и она дёрнулась, и оба замерли, и потом его пальцы закрылись вокруг её пальцев, не сжимая, а просто держа.

Они сидели так, пока не остыл чай.

. . .

Он ушёл в половине второго. Обулся, надел куртку, и на этот раз завязал оба шнурка.

— Я приду в четверг, — сказал он у двери. — Ручка, наверное, опять заскрипит.

— Заскрипит, — сказала Варя.

Он вышел. Дверь он оставил открытой, и Варя слышала его шаги по лестнице, и как хлопнула внизу подъездная дверь.

Она закрыла дверь. Не потому, что он попросил, и не потому, что так надо: ветром сдуло с подоконника пепел от недокуренной сигареты, и он полетел в комнату.

Потом она стояла и слушала, как засыпает дом: трубы, часы, телевизор у соседки, который наконец выключили. На кухне стояли две чашки, одна пустая, одна с остатком, и вода

в чайнике была тёплая.

Она подошла к столу, где стояла его пустая чашка, и взяла её в руки. Фарфор с бока ещё был тёплый. Она налила себе, и вода в чайнике отдала ещё немного тепла.

Никто не заговорил. В тишине осталось то, что минуту назад было слышно: дыхание человека напротив — ровное, медленное, сбившееся один раз и выровнявшееся снова. Оно было слышно и теперь, когда в комнате никого не было, и этого было достаточно.

. . .

В следующий вторник Олег принёс лестницу из свежей сосны, и запах её перебил запах сырости в прихожей.

— Вот, — сказал он, приставляя лестницу к стене. — Ступени. Третья шире остальных.

— Вижу.

— Соседский заказ. Только он просил «пouже, но попросторнее». Я говорю — так не бывает.

Он говорил. Много. О дубе и ясене, о чердаке у соседа.

Варя держала чашку, не пила. Его молчание было плотное, рабочее. Здесь слов было слишком много.

Перед словом «только» он посмотрел на свои руки. Между «пouже» и «но попросторнее» он вдохнул раньше, чем договорил. Перед «я говорю» была ещё пауза, и в ней он сглотнул.

— Стоп, — сказала Варя.

Он остановился.

— Вы сейчас не со мной разговариваете.

— Вы говорите, чтобы пауз не было, — сказала она. — А паузы у вас дороже, чем слова.

Он поставил лестницу ровнее к стене, вытер ладонь о штанину — всё это было сказано раньше слов.

— Слышно, — сказал он. — Сразу всё слышно.

— А вы? — спросила она. — Вы слушаете слова.

Он смотрел на лестницу.

— Я слушаю паузы, — сказал Олег. — У вас их больше.

— Тогда я послушаю, — сказала она.

И они слушали. За окном кто-то двигал мебель: скрип, стук, снова скрип. Олег не стал ничего заполнять: пошевелил пальцами по краю столешницы и остановился — пока скрип не стих.

. . .

Через неделю он пришёл чинить карниз: штанга отходила от стены, занавеска лежала криво.

Варя держала конец штанги, пока он прикручивал кронштейн. Пластик был тёплый от батареи.

— А вы всё ещё в кладовке? — спросила она.

— Всё там же.

— И соседи?

— Как были.

Он сказал это быстро и ровно. Но Варя слушала не слова.

Она слышала: «там хорошо, я там свой». И ещё: «там тесно, и я не выйду оттуда один». Два ответа на один вопрос,

и оба были не его.

Её тело ответило раньше, чем пришла мысль: лопатки сошлись, дыхание стало короче, левая ладонь легла на грудь под ключицей.

Олег увидел ладонь и перестал тянуть ключ.

— Я сказал «всё там же», — сказал он.

— Я слышала, — сказала Варя.

— Что вы слышали?

Она не ответила сразу. Она смотрела на его правую руку с кронштейном.

— Вот сейчас, — сказала она, — у вас побелели костяшки.

Он посмотрел на свою руку, как на чужую. Потом разжал пальцы, ноготь стал розовым.

— Там шумно, — сказал он. — Сосед бьёт в стену. Я сплю в наушниках.

Он сказал это тихо, глядя на карниз.

— Теперь слышу, — сказала она.

Он докрутил кронштейн. Занавеска встала ровно.

— А в наушниках вы слышите, как он бьёт, — спросила Варя, — или как его нет?

Он поднял голову.

— Как его нет, — сказал Олег.

. . .

В четверг он пришёл вовремя, и Варя услышала, что с ним что-то не так, раньше, чем увидела.

Он вытер ботинки о коврик, хотя они были сухие, и положил руки на колени. Говорил вполголоса и выбирал слова так, чтобы всё подходило.

Варя молчала. День был из тех, что ничего не оставляют: смена в библиотеке, отменённая встреча, вечер, когда раздражал каждый звук.

Он ждал. Минуту, две, три.

— Если что-то не так, — сказал он, — я пойду.

— Что не так?

Он отвёл взгляд: ответ был слишком очевиден.

Она выпрямилась, положила руки на стол и стала слушать собственный вдох. Когда она не знает, что сказать, она дышит медленно и прижимает ладонь к груди. Сейчас было другое: дыхание ровное, короткое, плечи подняты. Так дышит человек, который себя сдерживает. Со стороны это выглядит как обида.

— Вы решили, что я на вас обиделась, — сказала Варя.

— Я не решал, — сказал Олег. — Я подумал.

— Это одно и то же.

— Как мне понять, что вы не обиделись?

— Не знаю, — сказала она. — Я сама не знала, что молчу.

Он встал и начал складывать инструмент — слишком аккуратно, слишком быстро.

— Подождите, — сказала Варя.

Она сняла с полки банку с молоком, открыла, понюхала.

— Молоко испортилось, — сказала она. — Вылью его.

— Уже? — спросил он.

— Завтра.

Он сел обратно, и плечи у него опустились.

— День был плохой, — сказала она. — Вот и всё.

— Плохой, — повторил он.

— Да.

Они сидели до девяти. Молчание вернулось, но теперь это было другое: в нём никого не надо было утешать и ни о ком догадываться.

Он ушёл тихо.

. . .

В следующий раз она пекла пирог с яблоками.

Мука лежала на столе тонким слоем: она раскладывала её перед раскаткой, чтобы тесто не прилипало. Олег вошёл, увидел стол и провёл рукавом по краю столешницы — коротко, от себя, как проводят линейкой. Мука ушла с края на пол и на коврик, а на столе осталась не там, где была.

Варя стояла спиной к нему с миской в руках и не повернулась. Она поставила миску на стол — и громче, чем требовала миска: фарфор ударил по дереву, и звук было бы слышно с улицы.

Олег замер. Рукав всё ещё лежал на столешнице; он медленно убрал руку и вытер ладонь о штанину.

В той тишине, к которой они привыкли, кто-то молчал, потому что не знал, что сказать. В этой — кто-то злился и не мог.

Через минуту она сняла с крюка серую тряпку, положила ему в руки и вернулась к тесту. Он вытер стол, и коврик, и пол у батареи — тряпкой, а не рукавом.

Тесто перестояло: она отвлеклась.

— Извините, — сказала Варя. — Перестояло.

— Тогда я съем два куска, — сказал Олег.

Пирог вышел плотным, и они съели его весь.

. . .

Телефон лежал на подоконнике экраном вверх. Олег всегда клал его так — говорил «чтобы видеть, кто звонит», а на самом деле так было удобнее не замечать.

Он прикручивал к стене держатель для швабры: чинить было нечего. Варя читала.

Экран загорался.

Свет лёг ему на подбородок, и Варя увидела, как дёрнулся мускул у него на челюсти, — а потом он перестал дышать совсем, на одно деление, и вдохнул после, коротко.

Между тем как загорелся экран и тем, как он поставил отвёртку, прошло, может быть, четыре секунды.

Он встал, подошёл к подоконнику и взял телефон. На экране было имя. Он прочитал. Не ответил. Положил телефон экраном вниз.

Он ушёл в коридор, и она слышала, как он печатает: три коротких удара, пауза, ещё три. Потом вернулся, положил телефон в ящик тумбочки и закрыл ящик. Ящик щёлкнул.

В комнате снова стало тихо, и эта тишина была возвра-

щённой.

— Она звонит по вторникам, — сказал Олег. — Я не беру трубку, и она перестаёт звонить.

Варя подлила ему чая.

Он взял отвёртку и вернулся к держателю. Варя открыла книгу, но перечитать абзац не смогла: всё это время она слушала шурупы.

. . .

Рыжая кошка приходила из четвёртой квартиры. Варя не запирала дверь, и кошка пользовалась этим: заходила, если дверь открыта, и уходила, если её закрывали.

Кошка была тяжёлая, с белым пятном на груди и жёлтым ошейником с колокольчиком без звука.

Она вошла, села на квитанцию и положила лапу на стакан.

Оба замерли.

Кошка прошла по столу, понюхала чашку, чихнула и спрыгнула, задев линейку: та упала и загремела.

Варя вздрогнула. Олег отвернулся к окну, плечи у него дрогнули.

— Это ещё что? — сказал он, не оборачиваясь.

— Это соседская кошка. Она ходит, когда дверь открыта.

— У меня тоже, — сказал Олег. — Только она не ходит.

Когда кошка ушла, тишина была уже другой: в ней осталось её дыхание, и комната казалась теплее. Варя закрыла дверь.

На следующий день в доме начали сверлить. Стены были

тонкие: посуда в шкафу звякала, вода в стакане стояла мелкой рябью.

Разговор был невозможен — и не нужен: Варя показала ему подпись под рисунком, он кивнул и передал ей стакан с водой.

Шум кончился в половине десятого, и тишина вернулась сразу, целиком, как вода в яму.

— Вот теперь слышно, — сказал Олег.

— Да, — сказала Варя.

В тишине было слышно, как в стояке течёт вода и как где-то внизу хлопнула дверь.

. . .

Она сварила гречку, купила хлеб, положила на стол тарелку с яйцами. Олег пришёл голодным, и они ели вместе — впервые.

Он ел быстро, по-коммунальному: три куска хлеба подряд, ложка в рот, глотает не дожидаясь. Потом посмотрел на неё — она ела медленно и аккуратно — и замедлился.

Она отломила хлеб и положила ему половину, ту, что была больше. Он посмотрел и передвинул её обратно.

— Не делись, — сказал он. — Я видел, как вы режете.

— Я режу неровно.

— У вас ровно.

Они ели в молчании, и оно было первым, которое ничего не требовало: ни ответа, ни паузы.

Она подлила ему чая, потом себе. Он в какой-то момент

перестал жевать и держал ложку в руке — так делают, когда забывают, что едят.

— О чём вы? — спросила она.

— Ни о чём, — сказал он. — Я смотрю.

Они съели всё. На столе остались крошки, и никто не стал их убирать.

. . .

Разговор начался с забора. Он говорил, как криво сосед его поставил, и в какой-то момент:

— Я снял комнату. В Гольяново. Две комнаты, ванна, своя кухня.

Он сказал это тем же тоном, каким сообщают размеры и вес.

Варя услышала: «я уезжаю».

Воздух в груди кончился раньше, чем пришла мысль. Ладонь прижалась к столешнице, и дерево оказалось холоднее, чем она думала.

Он ждал ответа и, не дождавшись, стал добавлять:

— Четвёртый этаж. Окна на улицу. Санузел новый.

Потом она встала, обошла стол, поставила свой стул рядом с его и села. Теперь они смотрели на одну стену.

Он откинулся на спинку. Плечи опустились, и он выдохнул — и только потом заговорил.

— Покажи, как там, — сказала Варя.

Он достал телефон, нашёл фотографию и пододвинул её к ней: окно, свет, плита, бак на подоконнике.

— Ты слышала не то, — сказал Олег.

Варя повернула голову. Он сказал «ты» — и не поправился.

— Я слышала, что ты уезжаешь.

— Я переезжаю на другую улицу. Три остановки.

— Рядом?

— Сорок минут пешком.

Она кивнула.

— У тебя нет посуды, — сказала она. — И чайника.

— И чайника.

— Тогда я привезу.

. . .

В четверг он не пришёл. Впервые.

В шесть она позвонила: трубку не взяли. В девять взяли, голос сипловатый: «Я на связи» — и не приехал.

Адрес она знала: он был на квитанции в самый первый раз, в графе «выезд мастера». На четвёртом этаже пахло жареным луком.

Он открыл сразу.

— Я в порядке, — сказал он. — Это насморк.

Он был бледнее обычного, волосы прилипли ко лбу, воротник расстёгнут.

Комната была в длину шесть шагов: стол отодвинут, верстак, на нём ванна с опилками и саморезы. Он сел на диван, держась за спинку, — и Варя увидела, как он прижал левое плечо к телу.

— Вы с понедельника так держите, — сказала Варя.

— С понедельника, — сказал Олег.

— И как плечо?

Он посмотрел на неё. Потом на левое плечо.

— Вы не спрашиваете, как я себя чувствую.

— Я спрашиваю, как ваше плечо, — сказала Варя. — Это ближе к делу.

Он не ответил, но плечо разжал.

— Ночью лежал на нём, — сказал он. — Тяжело.

Она поставила сумку на пол, открыла окно, включила чайник. Потом смочила полотенце в холодной воде, отжала и положила ему на лоб. Он дёрнулся, но не снял.

— Не надо, — сказал он.

— Молчите, — сказала Варя.

Она поставила перед ним кружку и села на табурет у верстака. Он пил медленно, потому что горло болело, и отставлял кружку.

Он уснул, пока она мыла кружку, — впервые при ней. Она стояла у раковины и слушала, как воет кран и как в трубе остывает вода.

. . .

Потом был ноябрь, батареи, которые грели так, что на подоконнике сушили бельё.

Олег пришёл в четверг, и в следующий, и в следующий. Причины не было: стол не качался, карниз держался, занавеска висела ровно.

Он точил брусок об наждачную бумагу — медленно, ровно, — и на колено сыпалась серая пыль. Варя читала.

Они не говорили с шести до восьми. За окном колол дрова сосед: топор стучал, потом стук стал реже, потом стих, и в комнате стало слышно, как тикают часы и как в трубе стыкнет остывающая вода.

Варя встала, подлила кипятку и поставила чашку ему на край стола так, чтобы он мог взять, не вставая. Он кивнул, не отрывая глаз от бруска. Потом сдвинул брусок, освобождая место, и она поставила кружку себе. Потом он протянул руку ладонью вверх, и она сдвинула солонку.

В девять в окне стало темно, и они это видели: стекло перестало показывать двор и стало показывать комнату и тени на стене.

В половине одиннадцатого он встал, надел ботинки и ушёл. Дверь закрыл тихо, не щёлкнув, и она слышала, как он спускается по лестнице.

Она не встала. Она сидела за столом, и в комнате было тихо, и в этой тишине ничего не ждало.

На столе остались две пустые чашки, брусок дерева и лист наждачной бумаги, и всё это было на своих местах.

Часть II. ДРУГОЙ

О встрече двух телесностей. О том, что происходит в пространстве между.

Я вас любил: любовь еще, быть может,

В душе моей угасла не совсем;

Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
— А. Пушкин



Распознавание

Мирон шёл от дома тринадцать минут пешком. Автобус на двадцать третьем ходил раз в сорок минут, а в половине шестого он ещё не ходил, и Мирон был из тех, кто встаёт и сразу берётся за дело, но не из тех, кто выходит на остановку в полушубке. Он оделся в темноте: жёлтая рабочая куртка, брезентовая сумка через плечо, шапка в кармане.

На тротуаре лежал тонкий слой соли, и соль крошилась под ногами, как мел. Мирон шёл мимо пятого подъезда, мимо трансформаторной будки, от которой пахло железом и сыростью, мимо автобусной остановки, где висело объявление про оплату ЖКХ. Из трубы в пятом подъезде дымили и пахло сушёными дровами. На заборе садика кто-то написал баллончиком: «СОБАК НЕТ». Мирон прочитал и подумал: «А кого тогда?» — и засмеялся один, коротко, и звук в пустом дворе ушёл по крышам.

Подземный переход у стадиона. Лестница вниз, эскалатор, и сразу — другой воздух: теплее, влажнее, пахнущий маслом от эскалатора и горячим пластиком от рекламных панелей. На панели — «Ремонт холодильников на дому, выезд за час», а на следующей — курсы, «английский, разговорный, первая встреча бесплатно». Мирон каждый раз смотрел на «первая встреча бесплатно» и думал: вот у кого встреча бесплатная.

Станция «Политехническая», переход на «Технологиче-

ский институт». Конец марта, шесть тридцать восемь утра.

Ветер из вестибюля дул по переходу весь день и к шести утра устал: поднимался с пола, нёс мокрый снег и запах сточной канавы. Объявления по громкой связи были неразборчивы, половина слов терялась, и оставалось догадываться. Лампы горели через одну, и та, что ближе к стене, мигала.

Мирон стоял у края платформы. На бедре — липкое пятно герметика, на коленях белый налёт от цементного раствора. В сумке — ключи: от подвала, от двух домов и от санузла на третьем этаже, который с прошлой недели не могли закрыть. Ключи тихо звенели, когда он переступал с ноги на ногу. Сначала звенели два, потом три, потом четыре; он знал, в какой момент какой.

На левом запястье — часы с круглым циферблатом, купленные в подземном переходе за двести рублей. Стрелка показывала шесть тридцать восемь. Поезд должен был прийти в шесть сорок одну. На телефоне — три заявки на сегодня: первая в девять, Кировский проспект, двенадцатый дом, счётчик и прокладка; вторая — после обеда, на работе; третья ближе к вечеру, и эту он ещё переносил.

Пётр стоял в трёх метрах от него, у колонны. Рюкзак, вязаная шапка, в руке пакет с хлебом: на углу буханка стоила на три рубля дешевле, чем у работы, и он всегда брал на смену одну. На плече куртки — мука, белая, размазанная в полосу, будто он прислонялся к мешку.

— Он в это время ходит? — спросил Мирон.

Эгор поднял голову. Секунду он смотрел на Мирона, потом на табло.

— Ходит. В шесть сорок одну. Если не соврёт.

— Ладно.

Мирон не стал спрашивать, куда едет человек и откуда. Он спросил и получил ответ, и этого хватило. Молчание у него было своё, рабочее: в подвале он молчал по делу, в очереди в поликлинике — по делу, с соседом по гаражу — от нечего делать. Ни одно из этих молчаний не требовало, чтобы его кто-нибудь заполнил.

Телефон в кармане завибрировал. Мирон достал его, посмотрел: Лёша, сантехник, с ночной смены: «Слушай, есть ключ на 24, мужик срочно просит». Мирон набрал ответ одним большим пальцем, двумя строками: «Нет. У меня свой. Возьми у диспетчера в кабинете на третьем». Отправил и убрал телефон. На платформе было тихо, и в этой тишине разговор с Лёшей ушёл, как уходит вода в слив.

Женщина в шапке с помятой опушкой стояла рядом с колонной и перекладывала пакет из «Аптеки» из руки в руку.

— Простите, а вы не знаете, какой тут интервал? — спросила она Мирона.

— Нет, не знаю, — сказал Мирон.

— Вот и я не знаю, — сказала она и кивнула сама себе.

Мирон подумал: вот это разговор. Два человека сообщили друг другу общий факт — что оба ничего не знают, — и оба остались в покое. Никто не почувствовал, что ему должны

были рассказать больше.

По громкой связи лязгнуло, затрещало, и вырвалось: «… задерживается на… минут… просим…». Слова разобрать не удалось, но тон был понятен сразу. Человек в спортивном куртке, стоявший у края, выразил всё, что нужно было выразить, одним коротким словом.

Пётр убрал телефон в карман. Потом достал. Потом опять убрал.

— Извините, — сказал он вдруг, ни к кому конкретно, — а это «Политехническая» или «Технологический»?

Мирон посмотрел на него.

— Мы на «Политехнической», — сказал он. — Переход дальше.

— А, — сказал Пётр. — Понял.

И опять замолчали. Мирон смотрел на края платформы. Пётр смотрел в телефон. Молчание не было тяжёлым; оно было скорее похоже на погоду — на то, что есть, пока не начнётся дождь. На платформе было человек двадцать, и все они были заняты своим: один разбирал на телефоне шахматную доску, другой нёс телевизор в коробке, третий спал стоя, привалившись к колонне, и во сне ему что-то снилось, потому что лицо у него дёргалось.

. . .

Поезд пришёл с визгом тормозов, от которого все на платформе подняли головы. Вагон был полупустой: сзади, у противоположной двери, сидели сонные люди с рюкзаками, у

окна — женщина с наушниками и недосыпанным лицом. Пахло пластиком и тёплым металлом. Над дверью висела карта линии, и полоска маршрута ползла по ней, как муравей по ветке.

Мирон вошёл, поставил сумку у стены, взялся за поручень. Пётр вошёл следом, закрепил рюкзак на груди и встал с другой стороны двери. Между ними — распахнутая дверь и полметра пола.

Первые две минуты поезд стоял. Стоял и гул, и тепла в вагоне не было, только стыкло от простуды у дверей.

А потом сзади, через три ряда, заговорили двое. Не зашёптали — заговорили.

— Ты мне должен, — сказал один. Голос был высокий и очень громкий, такой, что слова вылетали из него, как из прорвавшей трубы. — Ты мне должен с октября, и каждый раз я слышу одно и то же.

— Я не слышу, — сказал второй. — Я никогда тебе ничего не обещал.

— Обещал.

— Ну и что, что обещал, — отвечал второй тише, но всё равно громко, — что ты так разговариваешь, при всех.

— При всех нормально, — сказал первый. — Я не прячусь.

Пётр перестал дышать. То есть не перестал — стал дышать иначе: коротко, сверху, через зубы, как дышат, когда надо быстро унять то, что поднимается. Пальцы на телефоне

побелели на костяшках. Он смотрел в пол, и в этом «в пол» было всё: он не мог смотреть на них, потому что это означало бы, что у него есть мнение, а мнение при всех — это то, чего он не хотел.

Мирон увидел.

Он не подумал. Он сделал. Переступил к стене, поставил сумку на пол между собой и Пётр, развернулся плечом к тем, кто говорил — и оказался стеной. Плечо, локоть, брезент, тёмная ткань куртки. Между Пётр и голосами появилась перегородка.

Он не повернулся и не посмотрел на Пётр. Он посмотрел на свои часы. Шесть сорок девять.

— Не обращай внимания, — сказал он негромко, не оборачиваясь.

Прошло две минуты. Может, три. Голоса продолжались, потом стихли, потом раздалось: «Всё, ладно, не при всех», — и больше почти не было слышно ничего, кроме стука колёс по стыкам.

Пётр выдохнул. Длинно, через рот, как выдохвают после того, как забыли дышать.

— Спасибо, — сказал он.

— Пожалуйста, — сказал Мирон.

И всё. Ни «что они такое», ни «ты в порядке», ни «извини, что я влез». Мирон не стал спрашивать, потому что вопрос означал бы: я заметил, что тебе было плохо, и теперь ты должен объяснять. Он молчал и смотрел на циферблат,

и от этого человеку наконец было нечего делать, кроме как дышать.

Поезд встал между станциями. Объявление объяснило это словами, которых никто не разобрал, и вагон качнулся и осел. Люди подались к дверям и отступили. Пётр посмотрел на часы, потом на окно, где по стеклу ползла вода, и стал считать что-то пальцем по телефону.

Мирон знал эти подсчёты. Он сам считал их каждое утро: сколько минут до первого адреса, сколько займёт дорога, сколько останется на обед. Люди, которые работают сменами, живут по такому счёту, и если ты сидишь с ними рядом, ты слышишь, как они считают.

— Они, наверное, из-за мелочи, — сказал Пётр. — Из-за денег.

Мирон не ответил. Он только чуть двинул плечом: мол, слышу. Этого хватило.

Он стоял и понимал, что перегородка стоила ему тоже: пальцы на поручне побелели так же, как у Пётр на телефоне. Спина была напряжена, и он не мог её расслабить, пока те двое говорили. Он сделал вещь для другого человека и заплатил за неё своим телом, и оба этого не обсуждали, потому что обсуждать было нечего.

. . .

Они вышли на «Политехнической». Пётр шёл к лестнице, Мирон — за ним, потому что лестница была одна и узкая, и по-другому никак.

На улице было светло, ветрено и сыро. Пахло мокрым асфальтом, луком с рынка и выхлопом с проспекта. Трамвай с лязгом поворачивал за углом. Рассвет в середине марта — это ещё ночь, только светлее, и фонари ещё горели, хотя было видно.

— В подвал я, — сказал Мирон. — У нас стояк на кухне течёт. Третий этаж, стояк смочен на два метра.

— Это ужас, — сказал Пётр.

— Стояк — он в стене, его не видно, — сказал Мирон. — Но бабушка снизу думает, что мы специально.

— Ну и пусть думает, что в подвале.

— Бабушка права, — сказал Мирон. — Я там и стоял в прошлый раз.

Пётр засмеялся. Смех у него был короткий, чуть хрипловатый, с придыханием на конце, как у человека, который смеялся много и привык себя одёргивать.

— А я на печь, — сказал он. — Меняем с шести. Сопло забивается, три раза в неделю чистим, а от него дым в зал идёт.

— Дым в зал — это хуже, чем стояк.

— В зале двенадцать человек, — сказал Пётр. — Все в дыму.

— И все делают вид, что это нормально, потому что утром смена.

— Угу.

Они шли к выходу из перехода. Мирон держал сумку в ле-

вой руке, потому что правой было удобнее показывать, когда объяснял. Он объяснял, как льёт под полом: сначала снимаешь раковину, потом смотришь, где гнёт, потом замазываешь герметиком, а герметик в подвале не схватывается, пока не просохнет.

— Я в подвале по колено в воде стою, — сказал он. — В марте. В валенках.

— В марте вода ледяная, — сказал Пётр.

— В марте вода ледяная, — подтвердил Мирон.

И тут же повисла пауза. Никто не заполнял её. Мирон смотрел, как по проспекту едет троллейбус с пустым салоном, и ждал, не зная, чего. Пётр смотрел в ту же сторону и тоже ждал. Пауза была не пустая и не тяжёлая; в ней стоял холодный воздух, запах лука и мысль, которая ещё не оформилась в слова.

— А в печи? — спросил Мирон. — Температура какая?

— Двадцать восемь в жерле, — сказал Пётр. — А у меня в цехе двадцать. Я смену отработаю — и в душе, как в бане.

— У меня в подвале четыре, — сказал Мирон. — Когда сантехник нужен, туда все и идут, потому что больше некуда.

— Двадцать четыре градуса между нами, — сказал Пётр.

— Между нами, — сказал Мирон.

— А тебя как зовут? — спросил Мирон.

— Пётр, — сказал Пётр. — А тебя?

— Мирон, — сказал Мирон. — Мирон Спиридонович.

— Мирон Спиридонович, — повторил Пётр. — Это тебе

по бабушке?

— По бабке, — сказал Мирон. — Она Зинаида Петровна, восемьдесят один год, третий этаж.

— С фонариком в подвале?

— С фонариком, — сказал Мирон.

Мирон понял, что говорит. Он уже несколько минут рассказывал человеку, как устроено его тело: где болит, что делает, сколько градусов, в каком порядке. Он разговаривал так с соседом по гаражу и больше ни с кем. О таком с людьми не говорят: это не тема, это бытовой рассказ, и поэтому его и не слушают.

Здесь слушали. Человек рядом слушал, как устроено тело собеседника, и не перебивал, и не шутил, и не отворачивался.

Они дошли до выхода. Двери подъезда метро были настегнуты на петлях, и между створками зияла щель, из которой тянуло сквозняком и пылью. На улице шум трафика, гудок, лязг трамвая, крик разносчика: «Гараж, гараж, свежие огурцы».

— Всё, — сказал Пётр. — Мне налево.

Мирон кивнул. Он не пошёл. Он стоял.

Пётр посмотрел на него — не вопросительно, а так, как смотрят на вещь, которую не ожидали найти на этом месте.

— Ты что, забыл? — сказал он. — У тебя подвал вон там, за лавкой. Я каждый день мимо прохожу, я знаю.

— Помню, — сказал Мирон. — Я сейчас.

Они стояли. Мирон чувствовал, как песок скрипит на бетоне, когда он переступает, и как тянет за воротник. Он смотрел на Пётр, и Пётр смотрел на него. Разговор был окончен — это знали оба, и знали оба одинаково ясно: сказать больше нечего, и сказать больше было бы неправильно, потому что всё, что можно было сказать, уже было сказано — про стояк, про сопло, про валенки, про окна в цехе, про то, что после смены не спится.

И при этом никто не уходил.

Мирон знал, что должен уйти: подвал ждал, бабушка снизу ждала, часы шли. Он знал и то, что если он сейчас уйдёт, то это утро останется в памяти как «очередь на платформе», а не как утро, когда с ним заговорил человек и он — Мирон, сантехник из Купчино, с ключами на поясе — заговорил в ответ, и заговорил о том, как его тело устроено, чего он не делал со школьных лет.

Он стоял и не уходил, и не знал, что делать с этим «стою».

— Ладно, — сказал Пётр наконец. — Мне в семь. Пошли.

— Пошли, — сказал Мирон.

— Только ты в подвал, а я на печь. Не перепутай.

— Не перепутаю.

Пётр кивнул и пошёл налево, к проспекту. Он ушёл шагов на двадцать, остановился, не обернулся — Мирон видел, как он остановился, — постоял и пошёл дальше.

Мирон пошёл в другую сторону. И через десять шагов обернулся: Пётр был у светофора, и когда загорелся зелёный,

он пошёл, не поднимая головы.

. . .

Подвал в его доме был четыре на два метра и пах так, что открываешь дверь — и отступаешь. Трубы, чугун, стояк, который гудел, когда кто-то из соседей спускал воду, и вечная сырость, на которой не высыхает пол.

Мирон спустился в половине восьмого, за тридцать минут до первого клиента. В подвале было четыре градуса, и вода стояла по щиколотку: с потолка капало с двух сторон и текло по стене, где шла трещина. Мирон поставил часы на перевёрнутое ведро, снял куртку, размотал шпагат на катушке и полез в санузел на третьем этаже.

Работа была скучная и понятная: снять старый бачок, поставить новый, протянуть гибкую подводку, проверить. Он делал это раз в месяц на двадцать домах, и на двадцать втором вода стояла так, что приходилось вставать на колени, а колени через сорок минут не разгибались. Мирон разогревал их, стоя, и шипел сквозь зубы.

В восемь спустилась Зинаида Петровна, восемьдесят один год, с третьего этажа.

— Мирон, — сказала она сверху, держась за перила. — Ты внизу?

— Внизу, Зинаида Петровна.

— А чего так рано?

— Я всегда рано, — сказал Мирон. — Это же подвал, тут днём народу нет.

— Ты не смотри, что вода на полу, — сказала она. — Это от них. Это они топят.

— Топят, — согласился Мирон.

— У меня в двадцать втором подъезде было. Тоже с вашей стороны.

— Двадцать второго подъезда у нас нет, — сказал Мирон. — Три подъезда, шестьдесят две квартиры.

— Вот и я тебе говорю, — сказала Зинаида Петровна.

Она помолчала, подумала и ушла наверх, и Мирон слышал, как она разговаривает сама с собой на лестнице, и в этом разговоре она уже была не уверена в своей правоте.

Он остался один. Свет в подвале — одна лампа, и та мигала; Мирон работал в её прерывистом свете, и тени от его рук ползали по стене, то быстрее, то медленнее, в такт ключу. Герметик в подвале не схватывался на холод, поэтому прокладку пришлось оставить до вечера, и Мирон ждал. Он сидел на перевёрнутом ведре, колени в воде, и ждал двенадцать минут, пока схватится.

Двенадцать минут он не думал ни о чём. Он смотрел на свои руки. На левой — сбитый ноготь, на безымянном пальце — тонкая белая полоска от ремня сумки, которая туда вдавливалась. Руки были рабочие, они не ждали ничего и ничего не требовали. Но они помнили: они запомнили, как Пётр убрал телефон в карман и достал его снова, как сжались его пальцы, как он смотрел в пол. Тело запомнило чужое тело быстрее, чем голова успела подобрать слова.

В половине девятого пришёл клиент, в квартире оказалось всё в порядке, и Мирон собрал инструмент. Клиент был мужчиной лет пятидесяти, Виктором Сергеевичем, и он двадцать лет работал на заводе. Он стоял в дверях, пока Мирон укладывал ключи и катушку в сумку, и всё время повторял «всё равно, спасибо». Когда Мирон вышел, тот крикнул вслед: «Мирон Спиридонович, с меня пятьсот не надо, работа чистая, я видел».

Уходя, он посмотрел на свои руки ещё раз — посмотрел так, как смотрят на вещь, у которой появилось второе назначение.

Домой он шёл пешком, тринадцать минут, потому что автобус на двадцать третьем уже ходил. В квартире было холодно, кот встретил его у двери и ушёл к миске. Мирон поел, сел в кресло, включил телефон и написал Лёше: «Ключ на 24 в кабинете диспетчера, я говорил». Лёша ответил: «Спасибо, братан».

Потом Мирон написал ещё одно: «У меня сегодня в метро человек один встал». Лёша спросил: «Чего?» Мирон подумал и стёр. Написать было нечем.

. . .

Через девять дней Пётр рассказал об этом Савве, и сам не понял, зачем.

Пекарня работала с пяти. В четыре сорок Пётр стоял у месильной машины, а Савва вытряхивал из мешков муку, и в зале стоял такой свет, что Савву было видно с закрытыми

глазами. Мука летела в столбы, и Савва отряхивался, как кот, а Пётр стоял в стороне, потому что мука в ушах — это потом до конца смены.

Пётр вставал в четыре. Телефон — в карман, будильник — на тумбочку, потому что если он выключал один, просыпался от второго. Автобус до пекарни шёл сорок минут, и к третьей остановке от куртки пахло мукой, и этот запах не выветривался до вечера. Смена с шести: значит, к пяти он был на месте, и первые двадцать минут стоял у холодильника, глядя, как подходит тесто.

— Слушай, — сказал Пётр. — В метро я тут видел мужика.

— Ну видел, — сказал Савва. — И?

— Он встал так, чтобы меня не было видно.

Савва перестал трясти мешок.

— Прям так и встал?

— Прям.

— Ну, может, он в телефон смотрел.

— Он в телефон не смотрел, — сказал Пётр. — Он смотрел на часы.

Савва хмыкнул.

— Ты сейчас про какого мужика говоришь? Про которого ты третий раз вспоминаешь?

— Про другого, — сказал Пётр. — Я сейчас про того, который встал.

Он поставил тесто и вытер руки тряпкой. Руки у него в

этот момент были в белом, и он смотрел на них и думал: вот этот человек развернулся плечом и встал между мной и двумя, которые орали. Плечо и брезентовая сумка. И часы. Он не сказал «тебе плохо?» — это было бы хуже всего. Он сказал «не обращай внимания» — и это было ровно то, что нужно.

— Савва, — сказал Пётр. — А ты когда-нибудь так делал?

— Ну, в сантехнике все так делают, — сказал Савва. — Прикрыть, пока мужик в трубе.

— Это другое.

— Чем другое?

— Не знаю, — сказал Пётр. — Вот чем-то другое.

Савва пожал плечами и пошёл к печи. А Пётр остался у стола, потому что тесто надо было разделать, а он забыл.

Он вспомнил тогда — уже потом, в обед, когда в зале пахло жареным луком и было пусто, — как утром в метро выглядел человек напротив. Обычное лицо, из тех, что не замечаешь в вагоне. Серая куртка, пакет с хлебом, мука на плече. Ничего. Ни одна деталь не цеплялась. Если бы Мирон не спросил про поезд, Пётр так и вышел бы на «Политехнической», ни о ком не подумав.

А ведь Мирон тоже был фоном. Потом оказалось — нет. Не оказалось. У этого фона были руки, ключи на поясе и мнение про то, что не следует лезть в чужое молчание.

Пётр подумал: интересно, я для кого-то тоже был фоном.

И тут же подумал: нет. Не был. Меня уже не раз видели.

В тот день Савва тащил мешок муки из притворка и приговаривал: «Выходи один я на дорогу, стыдно мне идти с котом». Он всегда тащил мешок и всегда пел, и Пётр раньше любил эту песню за то, что там про одного. В тот день она пелась про другое, и Пётр не стал поправлять Савву.

. . .

Они встретились снова через одиннадцать дней, в шесть сорок четыре, у того же перехода.

Пётр увидел его раньше, чем Мирон увидел его: сначала жёлтую куртку и брезентовую сумку, потом ключи на поясе, звякнувшие, когда человек переступил, потом круглый циферблат на запястье. Муки на плече не было: в тот день пакет с хлебом Пётр не брал, потому что хлеб уже не нужен был.

— Опять, — сказал Пётр.

Мирон остановился.

— Здравствуйте, — сказал он.

— Здравствуйте, — сказал Пётр. — Я думал, вы сегодня не в подвале.

— Я каждое утро в подвале, кроме вторника.

— А я каждые три дня на печи. Кроме среды.

Они стояли. Никто не торопил их к лестнице, и никто не уходил.

— Знаете, — сказал Пётр, — я всё думал, как это сказать. В метро я не сказал. Там народу много, и я не хотел быть тем, кто занимает место.

— Что хотел сказать?

— Что вы встали. Ну, вы знаете.

Мирон кивнул.

— Это ерунда, — сказал он. — Я просто перевернулся.

— Нет, — сказал Пётр. — Не ерунда. Я всю неделю думал. Меня как будто в комнату впустили, а из неё выгнали. Или наоборот.

Мирон не знал, что на это сказать, и потому не стал ничего говорить. Он опустил сумку на пол, положил на неё руку — тяжесть была привычная, сантиметров двенадцать, — и стоял.

— Слушайте, — сказал Пётр. — Я вот что подумал. Мы с вами в одно время тут стоим. Каждое утро. Это, наверное, не совпадение.

— Не совпадение, — сказал Мирон.

Они пошли к лестнице. Внизу, в переходе, ветер дул так же, как девять дней назад, и объявление по громкой связи снова было неразборчиво.

— Я в подвале по колено, — сказал Мирон.

— В марте, — сказал Пётр.

— В марте.

— У меня окна запотевают.

— Двадцать градусов в цехе, — сказал Мирон.

— Двадцать два, — сказал Пётр. — В марте печь разогнать можно.

Они поднялись наверх. На улице было светло и сыро, пахло луком и мокрым асфальтом. Трамвай поворачивал за уг-

лом.

— Мне налево, — сказал Пётр.

— Мне прямо, — сказал Мирон.

И тут же они посмотрели друг на друга, и оба поняли, что разговор, который начался одиннадцать дней назад на платформе, продолжается здесь и что закончиться он не может, потому что каждый раз, когда он кажется законченным, находится ещё одно: валенки, сопло, окна, печь, подвал, ключи.

— Тогда в среду, — сказал Пётр.

— В среду я тоже здесь, — сказал Мирон. — Сопло чинишь?

— Ага.

— Заходи тогда. После смены. Если хочешь.

Пётр посмотрел на него — долго, секунды три, — и кивнул.

— Заходи, — сказал он. — Только воду с собой, у нас пить нечего.

— У нас в пекарне есть чай, — сказал Пётр. — Правда, из пакета.

— А у меня в подвале есть чайник, — сказал Мирон, — но нет чая.

— Значит, придётся с моим.

— Хорошо, — сказал Мирон.

Трамвай повернул за углом, и свет его фар скользнул по стене над ними. Пётр посмотрел на Мирона и вдруг сказал:

— А можно я в среду приду не на печь? У меня среда — выходной, я подработку беру, уборка в подъездах.

— Можно, — сказал Мирон. — Только я не знаю, во сколько заканчиваю. Зависит от заявок.

— Я подожду.

— Нет, не жди, — сказал Мирон. — Позвони.

Он сказал это и тут же пожалел: он не давал свой номер никому. Но Пётр кивнул и достал телефон, и Мирон продиктовал номер, и Пётр записал его в «Контакты» под словом «Мирон Спиридонович».

Он ушёл налево. Мирон стоял и смотрел ему вслед, и ветер трепал полы жёлтой куртки, и ключи на поясе звенели, когда он переступал.

Разговор был окончен. Никто не ушёл: они разошлись в разные стороны, и получилось то же, что на платформе, только дольше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.